

БИЛИНГВА
BESTSELLER

THE CURIOUS CASE
OF BENJAMIN BUTTON

*Francis Scott
Fitzgerald*

ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА

*Фрэнсис Скотт
Фицджеральд*



БИЛИНГВА
BESTSELLER



БИЛИНГВА

BESTSELLER

**THE CURIOUS CASE
OF BENJAMIN BUTTON**

*Francis Scott
Fitzgerald*

**ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА**

*Фрэнсис Скотт
Фицджеральд*



Москва
2019

The Curious Case of Benjamin Button

I

As long ago as 1860 it was the proper thing to be born at home. At present, so I am told, the high gods of medicine have decreed that the first cries of the young shall be uttered upon the anesthetic air of a hospital, preferably a fashionable one. So young Mr. and Mrs. Roger Button were fifty years ahead of style when they decided, one day in the summer of 1860, that their first baby should be born in a hospital. Whether this anachronism had any bearing upon the astonishing history I am about to set down will never be known.

I shall tell you what occurred, and let you judge for yourself.

The Roger Buttons held an enviable position, both social and financial, in ante-bellum Balti-

Загадочная история Бенджамина Баттона

I

В 1860 году еще полагали, что появляться на свет надлежит дома. Ныне же, гласит молва, верховные жрецы медицины повелевают, дабы первый крик новорожденного прозвучал в стерильной атмосфере клиники, предпочтительно фешенебельной. Поэтому, когда молодые супруги мистер и миссис Роджер Баттон решили в один прекрасный летний день 1860 года, что их первенец должен появиться на свет божий в клинике, они опередили моду на целых пятьдесят лет. Связан ли этот анахронизм с той поразительной историей, которую я собираюсь здесь поведать, навсегда останется тайной.

Я расскажу, как все было, а там уж судите сами.

Перед войной супруги Баттон занимали в Балтиморе завидное положение и процветали.

more. They were related to the This Family and the That Family, which, as every Southerner knew, entitled them to membership in that enormous peerage which largely populated the Confederacy. This was their first experience with the charming old custom of having babies — Mr. Button was naturally nervous. He hoped it would be a boy so that he could be sent to Yale College in Connecticut, at which institution Mr. Button himself had been known for four years by the somewhat obvious nickname of “Cuff.”

On the September morning consecrated to the enormous event he arose nervously at six o'clock, dressed himself, adjusted an impeccable stock, and hurried forth through the streets of Baltimore to the hospital, to determine whether the darkness of the night had borne in new life upon its bosom.

When he was approximately a hundred yards from the Maryland Private Hospital for Ladies and Gentlemen he saw Doctor Keene, the family physician, descending the front steps, rubbing his hands together with a washing movement — as all doctors are required to do by the unwritten ethics of their profession.

Mr. Roger Button, the president of Roger Button & Co., Wholesale Hardware, began to run toward Doctor Keene with much less dignity than

Они были в родстве с Этим Семейством и с Тем Семейством, что, как известно каждому южанину, приобщало их к многочисленной аристократии, которой изобиловала Конфедерация. Они впервые решились отдать дань очаровательной старой традиции — обзавестись ребенком, и мистер Баттон, вполне естественно, нервничал. Он надеялся, что родится мальчик и он сможет определить его в Йельский колледж, штат Коннектикут, где сам мистер Баттон целых четыре года был известен под недвусмысленным прозвищем Петух.

В то сентябрьское утро, когда ожидалось великое событие, он встал в шесть часов, оделся, безупречно завязал галстук и, выйдя на улицу, устремился к клинике, торопясь узнать, зародилась ли в лоне ночи новая жизнь.

В сотне шагов от Частной мэрилендской клиники для леди и джентльменов он увидел доктора Кина, пользовавшего все его семейство, который выходил из главного подъезда, потирая руки привычным движением, как будто мыл их под краном, к чему обязывает всех врачей неписанный закон их профессии.

Мистер Роджер Баттон, глава фирмы «Роджер Баттон и Ко, оптовая торговля скобяными товарами», бросился навстречу доктору, вмиг

was expected from a Southern gentleman of that picturesque period.

“Doctor Keene!” he called. “Oh, Doctor Keene!”

The doctor heard him, faced around, and stood waiting, a curious expression settling on his harsh, medicinal face as Mr. Button drew near.

“What happened?” demanded Mr. Button, as he came up in a gasping rush. “What was it? How is she? A boy? Who is it? What—”

“Talk sense!” said Doctor Keene sharply. He appeared somewhat irritated.

“Is the child born?” begged Mr. Button.

Doctor Keene frowned.

“Why, yes, I suppose so — after a fashion.” Again he threw a curious glance at Mr. Button.

“Is my wife all right?”

“Yes.”

“Is it a boy or a girl?”

“Here now!” cried Doctor Keene in a perfect passion of irritation. “I’ll ask you to go and see for yourself. Outrageous!” He snapped the last word out in almost one syllable, then he turned away muttering: “Do you imagine a case like this will help my professional reputation? One more would ruin me — ruin anybody.”

позабыв о достоинстве, которое было неотъемлемым качеством южанина в те незабываемые времена.

— Доктор Кин! — вскричал он. — Ах, доктор Кин!

Доктор услышал это и остановился, ожидая мистера Баттона, причем на строгом докторском лице появилось весьма странное выражение.

— Ну как? — спросил мистер Баттон, запыхавшись от быстрого бега. — Уже? Что с ней? Мальчик? Или нет? И какой...

— Говорите вразумительно! — резко оборвал его доктор Кин. Вид у него был раздраженный.

— Родился ребенок? — пробормотал мистер Баттон с мольбой.

Доктор Кин нахмурил брови.

— М-да, пожалуй... я бы сказал... в некотором роде. — Он опять посмотрел на мистера Баттона странным взглядом.

— Как жена? Благополучно?

— Да.

— А кто у нас — девочка или мальчик?

— Оставьте меня! — закричал доктор Кин, окончательно потеряв самообладание. — Сделайте милость, разбирайтесь сами. Безобразие! — Последнее слово он будто выплюнул Баттону в лицо и пробормотал, отворачиваясь: — Уж не думаете ли вы, что это поднимет мой врачебный престиж? Да случись еще хоть

“What’s the matter?” demanded Mr. Button appalled. “Triplets?”

“No, not triplets!” answered the doctor cuttingly. “What’s more, you can go and see for yourself. And get another doctor. I brought you into the world, young man, and I’ve been physician to your family for forty years, but I’m through with you! I don’t want to see you or any of your relatives ever again! Good-by!”

Then he turned sharply, and without another word climbed into his phaeton, which was waiting at the curbstone, and drove severely away. Mr. Button stood there upon the sidewalk, stupefied and trembling from head to foot. What horrible mishap had occurred? He had suddenly lost all desire to go into the Maryland Private Hospital for Ladies and Gentlemen — it was with the greatest difficulty that, a moment later, he forced himself to mount the steps and enter the front door.

A nurse was sitting behind a desk in the opaque gloom of the hall. Swallowing his shame, Mr. Button approached her.

“Good-morning,” she remarked, looking up at him pleasantly.

“Good-morning. I — I am Mr. Button.”

раз нечто подобное — и я разорен, такое кого угодно разорит!

— Но в чем же дело? — вскричал мистер Баттон в ужасе. — Тройня?

— Если бы тройня! — ответил доктор убийственным тоном. — Нет уж, ступайте полюбуйтесь собственными глазами. И найдите себе другого доктора. Я принимал вас, когда вы родились на свет, молодой человек, и сорок лет лечил ваше семейство, но теперь между нами все кончено. Не хочу больше видеть ни вас, ни вашу родню! Прощайте!

Он резко повернулся, не сказав более ни слова, уселся в пролетку, которая ждала его у тротуара, и отбыл в суровом молчании. Ошеломленный мистер Баттон остался стоять на улице, весь дрожа. Что за непоправимое несчастье его постигло? У него вдруг пропало всякое желание идти в Частную мэрилендскую клинику для леди и джентльменов, он помедлил немного, но все же пересилил себя, поднялся по ступеням и вошел.

В сумраке приемной сидела за столом медицинская сестра. Сгорая со стыда, мистер Баттон подошел к ней.

— Доброе утро, — любезно приветствовала она его.

— Доброе утро. Я... я мистер Баттон.

At this a look of utter terror spread itself over the girl's face. She rose to her feet and seemed about to fly from the hall, restraining herself only with the most apparent difficulty.

"I want to see my child," said Mr. Button.

The nurse gave a little scream.

"Oh — of course!" she cried hysterically. "Upstairs. Right upstairs. Go — up!"

She pointed the direction, and Mr. Button, bathed in a cool perspiration, turned falteringly, and began to mount to the second floor. In the upper hall he addressed another nurse who approached him, basin in hand.

"I'm Mr. Button," he managed to articulate. "I want to see my——"

Clank! The basin clattered to the floor and rolled in the direction of the stairs. Clank! Clank! It began a methodical descent as if sharing in the general terror which this gentleman provoked.

"I want to see my child!" Mr. Button almost shrieked. He was on the verge of collapse.

Clank! The basin had reached the first floor. The nurse regained control of herself, and threw Mr. Button a look of hearty contempt.

"All right, Mr. Button," she agreed in a hushed voice. "Very well! But if you knew what a state it's

Ее лицо вдруг исказил ужас. Она вскочила, готовая, казалось, выбежать вон, и лишь с видимым трудом осталась на месте.

— Я хочу видеть своего ребенка, — сказал мистер Баттон.

Сестра тихонько пискнула.

— О-о... пожалуйста! — воскликнула она, и в голосе ее послышались истерические нотки. — Идите наверх. Наверх. Вон туда.

Она указала в сторону лестницы, и мистер Баттон, спотыкаясь на каждом шагу и обливаясь холодным потом, побрел на второй этаж. Там он обратился к другой сестре, которая встретила его с тазом в руках.

— Я мистер Баттон, — едва вымолвил он. — Я хочу видеть своего...

Дзинь! Таз со звоном упал на пол и покатился к лестнице. Дзинь! Дзинь! Таз мерно позвякивал о ступеньки, как бы разделяя всеобщий ужас, внушаемый Баттоном.

— Я хочу видеть своего ребенка! — Голос мистера Баттона срывался. В глазах у него мутилось.

Дзинь! Таз благополучно достиг первого этажа. Сестра овладела собой и взглянула на мистера Баттона с нескрываемым презрением.

— Что ж, мистер Баттон, — произнесла она, понизив голос. — Как вам будет угодно. Но ес-

put us all in this morning! It's perfectly outrageous! The hospital will never have the ghost of a reputation after——"

"Hurry!" he cried hoarsely. "I can't stand this!"

"Come this way, then, Mr. Button."

He dragged himself after her. At the end of a long hall they reached a room from which proceeded a variety of howls — indeed, a room which, in later parlance, would have been known as the "crying-room." They entered. Ranged around the walls were half a dozen white-enameled rolling cribs, each with a tag tied at the head.

"Well," gasped Mr. Button, "which is mine?"

"There!" said the nurse.

Mr. Button's eyes followed her pointing finger, and this is what he saw. Wrapped in a voluminous white blanket, and partly crammed into one of the cribs, there sat an old man apparently about seventy years of age. His sparse hair was almost white, and from his chin dripped a long smoke-coloured beard, which waved absurdly back and forth, fanned by the breeze coming in at the window. He looked up at Mr. Button with dim, faded eyes in which lurked a puzzled question.

ли бы вы только знали, в каком мы теперь положении! Ведь это сущее безобразие! Репутация нашей клиники погибла навсегда...

— Довольно! — прохрипел он. — Я больше не могу!

— В таком случае, мистер Баттон, пожалуйста сюда.

Он поплелся за ней. Они остановились в конце длинного коридора, у двери палаты, за которой на все лады раздавался писк младенцев, — недаром впоследствии ее стали называть «пискливой» палатой. Они вошли. У стен стояло с полдюжины белых колыбелек, и к каждой был привязан ярлычок.

— Ну? — задыхаясь, спросил мистер Баттон. — Который же мой?

— Вон тот! — сказала сестра.

Мистер Баттон поглядел туда, куда она указывала пальцем, и увидел вот что. Перед ним, запеленутый в огромное белое одеяло и кое-как втиснутый нижней частью туловища в колыбель, сидел старик, которому, вне сомнения, было под семьдесят. Его редкие волосы были убелены сединой, длинная грязно-серая борода нелепо колыхалась под легким ветерком, тянувшим из окна. Он посмотрел на мистера Баттона тусклыми, бесцветными глазами, в которых мелькнуло недоумение.

“Am I mad?” thundered Mr. Button, his terror resolving into rage. “Is this some ghastly hospital joke?”

“It doesn’t seem like a joke to us,” replied the nurse severely. “And I don’t know whether you’re mad or not — but that is most certainly your child.”

The cool perspiration redoubled on Mr. Button’s forehead. He closed his eyes, and then, opening them, looked again. There was no mistake — he was gazing at a man of threescore and ten — a baby of threescore and ten, a baby whose feet hung over the sides of the crib in which it was reposing.

The old man looked placidly from one to the other for a moment, and then suddenly spoke in a cracked and ancient voice.

“Are you my father?” he demanded.

Mr. Button and the nurse started violently.

“Because if you are,” went on the old man querulously, “I wish you’d get me out of this place — or, at least, get them to put a comfortable rocker in here.”

“Where in God’s name did you come from? Who are you?” burst out Mr. Button frantically.

“I can’t tell you exactly who I am,” replied the querulous whine, “because I’ve only been born a few hours — but my last name is certainly Button.”

— В уме ли я? — рявкнул мистер Баттон, чей ужас внезапно сменился яростью. — Или у вас в клинике принято так подло шутить над людьми?

— Нам не до шуток, — сурово ответила сестра. — Не знаю, в уме вы или нет, но это ваш сын, можете не сомневаться.

Холодный пот снова выступил на лбу Баттона. Он зажмурился, помедлил и открыл глаза. Сомнений не оставалось: перед ним был семидесятилетний старик, семидесятилетний младенец, чьи длинные ноги свисали из колыбели.

Он безмятежно взирал на них, а потом вдруг заговорил надтреснутым старческим голосом:

— Ты мой папа?

Баттон и сестра содрогнулись.

— Если ты мой папа, — продолжал старик ворчливо, — заberi меня поскорей отсюда или хотя бы вели им поставить здесь удобное кресло.

— Ради всего святого, скажи, откуда ты взялся? Кто ты? — закричал мистер Баттон в отчаянии.

— Не могу сказать доподлинно, кто я, — отозвался плаксивый голос, — потому что я родился всего несколько часов назад, знаю только, что моя фамилия Баттон.

“You lie! You’re an impostor!”

The old man turned wearily to the nurse.

“Nice way to welcome a new-born child,” he complained in a weak voice. “Tell him he’s wrong, why don’t you?”

“You’re wrong, Mr. Button,” said the nurse severely. “This is your child, and you’ll have to make the best of it. We’re going to ask you to take him home with you as soon as possible — sometime today.”

“Home?” repeated Mr. Button incredulously.

“Yes, we can’t have him here. We really can’t, you know?”

“I’m right glad of it,” whined the old man. “This is a fine place to keep a youngster of quiet tastes. With all this yelling and howling, I haven’t been able to get a wink of sleep. I asked for something to eat”—here his voice rose to a shrill note of protest—“and they brought me a bottle of milk!”

Mr. Button sank down upon a chair near his son and concealed his face in his hands.

“My heavens!” he murmured, in an ecstasy of horror. “What will people say? What must I do?”

“You’ll have to take him home,” insisted the nurse—“immediately!”

A grotesque picture formed itself with dreadful clarity before the eyes of the tortured man — a

— Лжешь! Ты самозванец!

Старик устало повернулся к сестре.

— Миленькая встреча для новорожденного, — жалобно проскулил он. — Да скажите же ему, что он ошибается.

— Вы ошибаетесь, мистер Баттон, — сурово сказала сестра. — Это ваш сын, тут уж ничего не поделаешь. И будьте столь любезны забрать его домой как можно скорее, сегодня же.

— Домой? — переспросил Баттон, все еще не веря своим ушам.

— Да, мы не можем его здесь держать. Никак не можем, понимаете?

— Что ж, тем лучше, — проворчал старик. — Нечего сказать, хорошенькое тут у вас место для малыша, который любит тишину и покой. Все время писк, крики, даже вздремнуть невозможно. А когда я попросил поесть, — тут он взвизгнул от возмущения, — мне сунули бутылочку с молоком!

Мистер Баттон рухнул на стул подле своего сына и закрыл лицо руками.

— Боже мой, — прошептал он в ужасе. — Что скажут люди? Как мне теперь быть?

— Вам придется забрать его домой, — настойчиво потребовала сестра. — Немедленно!

Перед глазами несчастного Баттона с ужасающей отчетливостью возникла нелепая карти-

picture of himself walking through the crowded streets of the city with this appalling apparition stalking by his side.

"I can't. I can't," he moaned.

People would stop to speak to him, and what was he going to say? He would have to introduce this septuagenarian:

"This is my son, born early this morning."

And then the old man would gather his blanket around him and they would plod on, past the bustling stores, the slave market — for a dark instant Mr. Button wished passionately that his son was black — past the luxurious houses of the residential district, past the home for the aged...

"Come! Pull yourself together," commanded the nurse.

"See here," the old man announced suddenly, "if you think I'm going to walk home in this blanket, you're entirely mistaken."

"Babies always have blankets."

With a malicious crackle the old man held up a small white swaddling garment.

"Look!" he quavered. "This is what they had ready for me."

"Babies always wear those," said the nurse primly.

"Well," said the old man, "this baby's not going to wear anything in about two minutes. This

на: он идет по людным улицам бок о бок с этим немислимым чудищем.

— Я не могу. Не могу! — простонал он.

Люди будут останавливаться, расспрашивать, а что ответить? Придется представлять им семидесятилетнего старца:

— Это мой сын, он родился сегодня утром.

А старик будет кутаться в свое одеяло, и они пройдут мимо оживленных магазинов, мимо невольничьего рынка (на миг мистеру Баттону страстно захотелось, чтобы его сын был чернокожим), мимо роскошных особняков, мимо богадельни...

— Ну! Возьмите же себя в руки! — скомандовала сестра.

— Послушайте, — сказал вдруг старик решительно, — уж не думаете ли вы, что я пойду домой в этом одеяле? Как бы не так.

— Новорожденных всегда пеленают в одеяла.

Со злобным смехом старик показал крошечную белую распашонку.

— Полюбуйтесь! — произнес он надтреснутым голосом. — Вот что они для меня приготовили.

— Новорожденным всегда надевают такие распашонки, — строго сказала сестра.

— Ну а на сей раз, — возразил старик, — не пройдет и двух минут, как новорожденный

blanket itches. They might at least have given me a sheet."

"Keep it on! Keep it on!" said Mr. Button hurriedly. He turned to the nurse. "What'll I do?"

"Go down town and buy your son some clothes."

Mr. Button's son's voice followed him down into the hall:

"And a cane, father. I want to have a cane."

Mr. Button banged the outer door savagely...

II

"Good-morning," Mr. Button said, nervously, to the clerk in the Chesapeake Dry Goods Company. "I want to buy some clothes for my child."

"How old is your child, sir?"

"About six hours," answered Mr. Button, without due consideration.

"Babies' supply department in the rear."

"Why, I don't think — I'm not sure that's what I want. It's — he's an unusually large-size child. Exceptionally — ah — large."

"They have the largest child's sizes."

"Where is the boys' department?" inquired Mr. Button, shifting his ground desperately.

предстанет перед вами нагишом. Это одеяло кушается. На худой конец, дали бы хоть простыню.

— Нет-нет, подожди! — поспешно сказал мистер Баттон и повернулся к сестре. — Что же мне делать?

— Идите в магазин и купите ему одежду.

Голос сына настиг мистера Баттона уже у выхода:

— И трость, папаша. Мне нужна трость.

Мистер Баттон в ярости захлопнул за собой дверь.

II

— Доброе утро, — обратился взволнованный мистер Баттон к приказчику универсального магазина Чизпика. — Мне нужна детская одежда.

— А сколько вашему ребенку, сэр?

— Без малого шесть часов, — опрометчиво ответил мистер Баттон.

— Приданое для новорожденных продается напротив.

— Нет, мне кажется... боюсь, что это мне не подойдет. Видите ли... ребенок очень крупный. Чрезвычайно... э-э... крупный.

— Там имеются самые большие детские размеры.

— А где можно купить одежду для подростков? — спросил мистер Баттон, в отчаянии меняя тактику.

He felt that the clerk must surely scent his shameful secret.

“Right here.”

“Well—”

He hesitated. The notion of dressing his son in men’s clothes was repugnant to him. If, say, he could only find a very large boy’s suit, he might cut off that long and awful beard, dye the white hair brown, and thus manage to conceal the worst, and to retain something of his own self-respect — not to mention his position in Baltimore society.

But a frantic inspection of the boys’ department revealed no suits to fit the new-born Button. He blamed the store, of course — in such cases it is the thing to blame the store.

“How old did you say that boy of yours was?” demanded the clerk curiously.

“He’s — sixteen.”

“Oh, I beg your pardon. I thought you said six hours. You’ll find the youths’ department in the next aisle.”

Mr. Button turned miserably away. Then he stopped, brightened, and pointed his finger toward a dressed dummy in the window display.

“There!” he exclaimed. “I’ll take that suit, out there on the dummy.”

The clerk stared.

Он был уверен, что приказчик догадывается о его постыдной тайне.

— Здесь.

— Тогда...

Он поколебался. Мысль, что сына придется одеть как взрослого, была для него невыносима. Если бы, скажем, найти костюм для очень крупного подростка, можно остричь эту ужасную бороду, перекрасить седые волосы в каштановый цвет и скрыть таким образом самое ужасное, сохранив остатки самоуважения... о своей репутации в обществе он уже и не вспоминал.

Но, лихорадочно осмотрев все витрины, он убедился, что подходящего костюма для новорожденного Баттона нет. Он проклинал магазин — что ж, в подобных случаях только и остается проклинать магазин.

— Сколько, вы говорите, вашему мальчику? — с любопытством спросил приказчик.

— Ему... шестнадцать лет.

— Ах, простите, а мне слышалось — шесть часов. Одежду для юношей продают в соседнем зале.

Мистер Баттон поплелся было прочь. Но вдруг он остановился и радостно указал на манекен в витрине.

— Вот! — воскликнул он. — Я беру тот костюм, что на манекене.

Приказчик посмотрел на него в изумлении.

“Why,” he protested, “that’s not a child’s suit. At least it is, but it’s for fancy dress. You could wear it yourself!”

“Wrap it up,” insisted his customer nervously. “That’s what I want.”

The astonished clerk obeyed.

Back at the hospital Mr. Button entered the nursery and almost threw the package at his son.

“Here’s your clothes,” he snapped out.

The old man untied the package and viewed the contents with a quizzical eye.

“They look sort of funny to me,” he complained, “I don’t want to be made a monkey of——”

“You’ve made a monkey of me!” retorted Mr. Button fiercely. “Never you mind how funny you look. Put them on — or I’ll — or I’ll spank you.”

He swallowed uneasily at the penultimate word, feeling nevertheless that it was the proper thing to say.

“All right, father” — this with a grotesque simulation of filial respect — “you’ve lived longer; you know best. Just as you say.”

As before, the sound of the word “father” caused Mr. Button to start violently.

“And hurry.”

“I’m hurrying, father.”

When his son was dressed Mr. Button regarded him with depression. The costume consisted of

— Но это же не детский костюм, — сказал он. — А если и детский, то шит для манекена. Да он вам самому пришелся бы впору.

— Заверните, — потребовал покупатель. — Именно это мне и нужно.

Ошеломленный приказчик повиновался.

Вернувшись в клинику, Баттон вошел в палату и едва не запустил в сына свертком.

— Вот тебе, одевайся, — сказал он со злостью.

Старик развернул бумагу и насмешливо поглядел на содержимое пакета.

— Да ведь это просто смешно, — пожаловался он. — Я не хочу, чтобы из меня сделали обезьяну...

— Это ты из меня обезьяну сделал! — огрызнулся Баттон. — Не тебе судить, как ты выглядишь. Живо одевайся, или... или я тебя отшлепаю.

На последнем слове он всхлипнул, хотя чувствовал, что именно это и следовало сказать.

— Ладно, папа, — ответил сын с притворным почтением. — Ты старше, значит, тебе видней. Я повинуюсь.

При слове «папа» мистер Баттон вновь содрогнулся.

— И поторапливайся.

— Я поторапливаюсь, папа.

Когда сын оделся, мистер Баттон осмотрел его и окончательно упал духом. На нем были

dotted socks, pink pants, and a belted blouse with a wide white collar. Over the latter waved the long whitish beard, drooping almost to the waist. The effect was not good.

“Wait!”

Mr. Button seized a hospital shears and with three quick snaps amputated a large section of the beard. But even with this improvement the ensemble fell far short of perfection. The remaining brush of scraggly hair, the watery eyes, the ancient teeth, seemed oddly out of tone with the gayety of the costume. Mr. Button, however, was obdurate — he held out his hand.

“Come along!” he said sternly.

His son took the hand trustingly.

“What are you going to call me, dad?” he quavered as they walked from the nursery—“just ‘baby’ for a while? till you think of a better name?”

Mr. Button grunted.

“I don’t know,” he answered harshly. “I think we’ll call you Methuselah.”

III

Even after the new addition to the Button family had had his hair cut short and then dyed to a sparse unnatural black, had had his face shaved

крапчатые чулки, розовые панталоны и кофточка с белым воротником. Поверх нее почти до пояса змеилась грязно-серая борода. Впечатление было не из лучших.

— Подожди-ка!

Мистер Баттон схватил хирургические ножницы и тремя быстрыми движениями отхватил бороду. Но и это не помогло — вид новорожденного по-прежнему был далек от совершенства. Жесткая щетина на подбородке, тусклые глаза, желтые стариковские зубы выглядели нелепо в сочетании с нарядным, сшитым для витрины костюмом. Но мистер Баттон, ожесточившись, протянул сыну руку.

— Пошли! — сказал он строго.

Сын доверчиво уцепился за эту руку.

— А как ты будешь меня звать, папочка? — спросил он дребезжащим голосом, когда они выходили из палаты. — Просто «малыш», покуда не придумаешь что-нибудь получше?

Мистер Баттон хмыкнул.

— Не знаю, — ответил он сурово. — Пожалуй, назовем тебя Мафусаилом.

III

Даже когда отпрыска Баттонов коротко остригли, покрасили волосы в неестественный черноватый цвет, щеки и подбородок выбрили

so close that it glistened, and had been attired in small-boy clothes made to order by a flabbergasted tailor, it was impossible for Button to ignore the fact that his son was a poor excuse for a first family baby.

Despite his aged stoop, Benjamin Button — for it was by this name they called him instead of by the appropriate but invidious Methuselah — was five feet eight inches tall. His clothes did not conceal this, nor did the clipping and dyeing of his eyebrows disguise the fact that the eyes under — were faded and watery and tired. In fact, the baby-nurse who had been engaged in advance left the house after one look, in a state of considerable indignation.

But Mr. Button persisted in his unwavering purpose. Benjamin was a baby, and a baby he should remain. At first he declared that if Benjamin didn't like warm milk he could go without food altogether, but he was finally prevailed upon to allow his son bread and butter, and even oatmeal by way of a compromise. One day he brought home a rattle and, giving it to Benjamin, insisted in no uncertain terms that he should "play with it," whereupon the old man took it with a weary expression and could be heard jingling it obediently at intervals throughout the day.

There can be no doubt, though, that the rattle bored him, and that he found other and more soothing amusements when he was left alone.

до блеска, а потом нарядили в детский костюмчик, сшитый по заказу портным, который долго не мог прийти в себя от удивления, мистеру Баттону все же пришлось признать, что такой первенец отнюдь не делает чести его семейству.

Бенджамин Баттон — так его называли, отказавшись от весьма подходящего, но слишком уж вызывающего имени Мафусаил, — хоть и сутулился по-стариковски, имел пять футов восемь дюймов росту. Этого не скрадывала одежда, равно как короткая стрижка и крашенные брови не скрадывали тусклых, выцветших глаз. Нянька, заранее взятая к ребенку, едва увидев его, в негодовании покинула дом.

Но мистер Баттон твердо решил: Бенджамин — младенец и таковым должен быть. Прежде всего он объявил, что если Бенджамин не будет пить теплое молоко, то вообще ничего не получит, но потом его уговорили помириться на хлебе с маслом и даже овсяной каше. Однажды он принес домой погремушку и, отдавая ее Бенджамину, в недвусмысленных выражениях потребовал, чтобы он играл ею, после чего старик с усталым видом взял ее и время от времени покорно встряхивал.

Однако погремушка, без сомнения, его раздражала, он, оставаясь в одиночестве, находил другие, более приятные для себя развлечения.

For instance, Mr. Button discovered one day that during the preceding week he had smoked more cigars than ever before — a phenomenon, which was explained a few days later when, entering the nursery unexpectedly, he found the room full of faint blue haze and Benjamin, with a guilty expression on his face, trying to conceal the butt of a dark Havana. This, of course, called for a severe spanking, but Mr. Button found that he could not bring himself to administer it. He merely warned his son that he would “stunt his growth.”

Nevertheless he persisted in his attitude. He brought home lead soldiers, he brought toy trains, he brought large pleasant animals made of cotton, and, to perfect the illusion which he was creating — for himself at least — he passionately demanded of the clerk in the toy-store whether “the paint would come off the pink duck if the baby put it in his mouth.” But, despite all his father’s efforts, Benjamin refused to be interested. He would steal down the back stairs and return to the nursery with a volume of the Encyclopedia Britannica, over which he would pore through an afternoon, while his cotton cows and his Noah’s ark were left neglected on the floor. Against such a stubbornness Mr. Button’s efforts were of little avail.

The sensation created in Baltimore was, at first, prodigious. What the mishap would have cost the Buttons and their kinsfolk socially cannot be de-

К примеру, однажды мистер Баттон обнаружил, что за минувшую неделю выкурил сигар намного больше обычного; все объяснилось несколько дней спустя, когда, неожиданно войдя в детскую, он увидел, что комната наполнена легким голубым туманом, а Бенджамин с виноватым видом пытается спрятать окурок гаванской сигары. Конечно, следовало бы его хорошенько отшлепать, но мистер Баттон почувствовал, что не способен на это. Он только предупредил сына, что курение задержит его рост.

Несмотря на этот случай, мистер Баттон продолжал гнуть свою линию. Он купил оловянных солдатиков, игрушечный поезд, принес больших забавных зверей, набитых ватой, и для полноты иллюзии — по крайней мере собственной — настойчиво допытывался у продавца, «не слиняет ли розовая окраска утки, если ребенок засунет игрушку в рот». Но вопреки всем стараниям своего отца Бенджамин оставался равнодушен к игрушкам. Он тайком, по черной лестнице, спускался вниз и приносил в детскую том Британской энциклопедии, над которым и проводил целый день, а коровы, набитые ватой, и Ноев ковчег валялись в небрежении на полу. Такое упорство мистер Баттон не в силах был сломить.

Рождение Бенджамина поначалу произвело в Балтиморе сенсацию. И трудно сказать, как это несчастье отразилось бы на общественном

terminated, for the outbreak of the Civil War drew the city's attention to other things. A few people who were unfailingly polite racked their brains for compliments to give to the parents — and finally hit upon the ingenious device of declaring that the baby resembled his grandfather, a fact which, due to the standard state of decay common to all men of seventy, could not be denied. Mr. and Mrs. Roger Button were not pleased, and Benjamin's grandfather was furiously insulted.

Benjamin, once he left the hospital, took life as he found it. Several small boys were brought to see him, and he spent a stiff-jointed afternoon trying to work up an interest in tops and marbles — he even managed, quite accidentally, to break a kitchen window with a stone from a sling shot, a feat which secretly delighted his father.

Thereafter Benjamin contrived to break something every day, but he did these things only because they were expected of him, and because he was by nature obliging.

When his grandfather's initial antagonism wore off, Benjamin and that gentleman took enormous pleasure in one another's company. They would sit for hours, these two, so far apart in age and experience, and, like old cronies, discuss with tireless monotony the slow events of the day.

положении Баттона и его родственников, если бы не началась Гражданская война, которая отвлекла от них внимание. Некоторые особенно вежливые люди ломали себе головы над тем, что бы такое сказать родителям Бенджамина, дабы это было им приятно, и наконец нашли простой выход: объявили, что новорожденный похож на своего деда — ввиду свойственной семидесятилетним старикам умственной слабости отрицать это было трудно. Мистер и миссис Роджер Баттон нисколько не обрадовались, а дед Бенджамин оскорбился до глубины души.

Покинув клинику, Бенджамин безропотно принимал окружающий мир. Однажды к нему привели поиграть нескольких малышей, и он кое-как дотянул до вечера, стараясь проявлять интерес к волчку и шарикам, причем ему удалось даже, правда по чистой случайности, разбить окно на кухне выстрелом из рогатки — подвиг, которому его отец втайне радовался.

С тех пор Бенджамин ухитрялся каждый день что-нибудь разбивать, но делал это лишь для того, чтобы угодить взрослым, поскольку характер у него был покладистый.

Когда дед перестал испытывать враждебность к нему, они с Бенджамином начали находить большое удовольствие в общении друг с другом. Часами сидели они, старый и малый, словно закадычные друзья, и беседовали о всяких пустяках.

Benjamin felt more at ease in his grandfather's presence than in his parents'—they seemed always somewhat in awe of him and, despite the dictatorial authority they exercised over him, frequently addressed him as “Mr.”

He was as puzzled as any one else at the apparently advanced age of his mind and body at birth. He read up on it in the medical journal, but found that no such case had been previously recorded. At his father's urging he made an honest attempt to play with other boys, and frequently he joined in the milder games — football shook him up too much, and he feared that in case of a fracture his ancient bones would refuse to knit.

When he was five he was sent to kindergarten, where he initiated into the art of pasting green paper on orange paper, of weaving colored maps and manufacturing eternal cardboard necklaces. He was inclined to drowse off to sleep in the middle of these tasks, a habit which both irritated and frightened his young teacher. To his relief she complained to his parents, and he was removed from the school. The Roger Buttons told their friends that they felt he was too young.

By the time he was twelve years old his parents had grown used to him. Indeed, so strong is the force of custom that they no longer felt that he was different from any other child — except when

С дедом Бенджамин чувствовал себя свободнее, чем с родителями, которые всегда словно побаивались его и, забывая о своем родительском авторитете, нередко называли «мистером».

Он сам не менее других был удивлен тем, что родился таким старым и умудренным опытом. Он попытался найти объяснение этому в медицинском журнале, но выяснил лишь, что науке подобные случаи неизвестны. По настоянию отца он честно пробовал играть с другими мальчиками, но предпочитал спокойные игры — футбол приводил его в трепет: он боялся, что, если ему переломают старческие кости, они уже никогда не срастутся.

Пяти лет от роду его отдали в детский сад, где он приобщился к великому искусству наклеивать зеленые бумажки на оранжевые, плести цветные узоры и изготавливать бесконечные картонные украшения. Случалось, он засыпал, не выполнив урока, — эта привычка сердила и ужасала его юную наставницу. К счастью, она пожаловалась родителям, и его забрали оттуда. Баттоны объяснили своим друзьям, что мальчик, как им кажется, еще не дорос до детского сада.

На двенадцатый год после его рождения родители наконец к нему привыкли. Воистину столь велика сила привычки, что они уже не видели разницы между ним и другими детьми — разве

some curious anomaly reminded them of the fact. But one day a few weeks after his twelfth birthday, while looking in the mirror, Benjamin made, or thought he made, an astonishing discovery. Did his eyes deceive him, or had his hair turned in the dozen years of his life from white to iron-gray under its concealing dye? Was the network of wrinkles on his face becoming less pronounced? Was his skin healthier and firmer, with even a touch of ruddy winter color? He could not tell. He knew that he no longer stooped, and that his physical condition had improved since the early days of his life.

“Can it be——?” he thought to himself, or, rather, scarcely dared to think.

He went to his father.

“I am grown,” he announced determinedly. “I want to put on long trousers.”

His father hesitated.

“Well,” he said finally, “I don’t know. Fourteen is the age for putting on long trousers — and you are only twelve.”

“But you’ll have to admit,” protested Benjamin, “that I’m big for my age.”

His father looked at him with illusory speculation.

“Oh, I’m not so sure of that,” he said. “I was as big as you when I was twelve.”

только иногда какая-нибудь его странность на-поминала им об этом. Но однажды, вскоре после того, как ему исполнилось двенадцать, Бенджамин взглянул в зеркало и сделал поразительное открытие. Он не поверил своим глазам: неужели пробивавшаяся из-под краски седина на тринадцатом году его жизни приобрела серовато-стальной оттенок? Неужели сеть морщин на его лице словно бы сгладилась? Неужели кожа стала свежей и упругой, а на щеках, словно тронутых зимним морозом, даже заиграл легкий румянец? Его одолевали сомнения. Он замечал, что больше не сутулился и здоровье его заметно окрепло со времен младенчества.

— Возможно ли?.. — подумал или, вернее, едва осмелился подумать Бенджамин.

Он пошел к отцу.

— Я вырос, — решительно объявил он. — Купи мне длинные брюки.

Отец задумался.

— Право, не знаю, — сказал он наконец. — Длинные брюки обычно носят с четырнадцати лет, а тебе только двенадцать.

— Но ты должен признать, — возразил Бенджамин, — что я довольно крупный ребенок для своих лет.

Отец бросил на него неуверенный взгляд.

— Ну, я этого не нахожу, — сказал он. — В двенадцать лет я не уступал тебе.

This was not true — it was all part of Roger Button's silent agreement with himself to believe in his son's normality.

Finally a compromise was reached. Benjamin was to continue to dye his hair. He was to make a better attempt to play with boys of his own age. He was not to wear his spectacles or carry a cane in the street. In return for these concessions he was allowed his first suit of long trousers...

IV

Of the life of Benjamin Button between his twelfth and twenty-first year I intend to say little. Suffice to record that they were years of normal ungrowth. When Benjamin was eighteen he was erect as a man of fifty; he had more hair and it was of a dark gray; his step was firm, his voice had lost its cracked quaver and descended to a healthy baritone. So his father sent him up to Connecticut to take examinations for entrance to Yale College. Benjamin passed his examination and became a member of the freshman class.

On the third day following his matriculation he received a notification from Mr. Hart, the college registrar, to call at his office and arrange his schedule. Benjamin, glancing in the mirror, decided that his hair needed a new application of

Это была ложь: Роджер Баттон давно вошел в сделку с совестью, молчаливо притворяясь, будто его сын вполне нормальный ребенок.

Наконец был найден компромисс. Бенджами-ну по-прежнему придется красить волосы. Он будет стараться играть со своими ровесниками. Он обещает не носить очки и не гулять с тростью по улице. В награду за все это ему обещали купить длинные брюки.

IV

Я не намерен много распространяться о жизни Бенджамина Баттона от двенадцати до двадцати одного года. Достаточно заметить, что за эти годы он неуклонно молодеел. К восемнадцати годам он перестал сутулиться и выглядел пятидесятилетним мужчиной; волосы его стали гуще и слегка потемнели; он ходил твердым шагом, дребезжащий голос превратился в мужественный баритон. И тогда отец послал его в Йельский колледж держать экзамены, которые Бенджамин успешно сдал и был зачислен на первый курс.

Через три дня он получил уведомление от мистера Харта, из канцелярии колледжа: ему предлагали явиться для составления учебного плана. Бенджамин, поглядевшись в зеркало, решил, что волосы надо подкрасить, но, лихора-

its brown dye, but an anxious inspection of his bureau drawer disclosed that the dye bottle was not there. Then he remembered — he had emptied it the day before and thrown it away. He was in a dilemma. He was due at the registrar's in five minutes. There seemed to be no help for it — he must go as he was. He did.

“Good-morning,” said the registrar politely. “You’ve come to inquire about your son.”

“Why, as a matter of fact, my name’s Button—” began Benjamin, but Mr. Hart cut him off.

“I’m very glad to meet you, Mr. Button. I’m expecting your son here any minute.”

“That’s me!” burst out Benjamin. “I’m a freshman.”

“What!”

“I’m a freshman.”

“Surely you’re joking.”

“Not at all.”

The registrar frowned and glanced at a card before him.

“Why, I have Mr. Benjamin Button’s age down here as eighteen.”

“That’s my age,” asserted Benjamin, flushing slightly.

The registrar eyed him wearily.

дочно обыскав ящик письменного стола, не обнаружил там склянки с краской. Тут он вспомнил, что еще вчера израсходовал остаток краски и выбросил склянку. Выбора не было. Через пять минут ему предстояло явиться в канцелярию. Ничего не попишешь — придется идти как есть. И он пошел.

— Доброе утро, — любезно встретил его мистер Харт. — Вы, должно быть, пришли справиться о своем сыне.

— К вашему сведению, моя фамилия Баттон... — начал Бенджамин, но мистер Харт прервал его:

— Очень рад с вами познакомиться, мистер Баттон. Я ожидаю вашего сына с минуты на минуту.

— Да это же я! — рявкнул Бенджамин. — Меня зачислили на первый курс.

— Что-о?

— Меня зачислили на первый курс.

— Да вы шутите!

— Нисколько.

Клерк нахмурился и заглянул в карточку, лежащую перед ним.

— Но у меня здесь значится, что Бенджамином Баттоном восемнадцать лет.

— Вот именно, восемнадцать, — подтвердил Бенджамин и слегка покраснел.

Клерк устало взглянул на него.

“Now surely, Mr. Button, you don’t expect me to believe that.”

Benjamin smiled wearily.

“I am eighteen,” he repeated.

The registrar pointed sternly to the door.

“Get out,” he said. “Get out of college and get out of town. You are a dangerous lunatic.”

“I am eighteen.”

Mr. Hart opened the door.

“The ideal!” he shouted. “A man of your age trying to enter here as a freshman. Eighteen years old, are you? Well, I’ll give you eighteen minutes to get out of town.”

Benjamin Button walked with dignity from the room, and half a dozen undergraduates, who were waiting in the hall, followed him curiously with their eyes. When he had gone a little way he turned around, faced the infuriated registrar, who was still standing in the doorway, and repeated in a firm voice:

“I am eighteen years old.”

To a chorus of titters which went up from the group of undergraduates, Benjamin walked away.

But he was not fated to escape so easily. On his melancholy walk to the railroad station he found that he was being followed by a group, then by a swarm, and finally by a dense mass of undergradu-

— Право, мистер Баттон, не думаете же вы, что я вам поверю.

Бенджамин улыбнулся не менее устало.

— Мне восемнадцать, — повторил он.

Клерк решительно указал ему на дверь.

— Уходите, — сказал он. — Уходите из колледжа и покиньте наш город. Вы опасный ма-
ньяк.

— Мне восемнадцать!

Мистер Харт распахнул дверь.

— Подумать только! — вскричал он. — В ваши годы пытаться поступить на первый курс! Восемнадцать лет, говорите? Даю вам восемнадцать минут, и чтобы духу вашего в городе не было.

Бенджамин Баттон с достоинством покинул канцелярию, причем с полдюжины старшекурсников, ожидавших в приемной, таращили на него глаза. Отойдя немного, он оглянулся на взбешенного клерка, который все еще стоял в дверях, и твердо повторил:

— Мне восемнадцать лет от роду.

Под дружный хохот старшекурсников Бенджамин удалился.

Но ему не суждено было так легко отделаться. Он печально брел к вокзалу и вдруг обнаружил, что его сопровождает сперва стайка, потом рой и наконец — плотная толпа студентов. Весть

ates. The word had gone around that a lunatic had passed the entrance examinations for Yale and attempted to palm himself off as a youth of eighteen. A fever of excitement permeated the college. Men ran hatless out of classes, the football team abandoned its practice and joined the mob, professors' wives with bonnets awry and bustles out of position, ran shouting after the procession, from which proceeded a continual succession of remarks aimed at the tender sensibilities of Benjamin Button.

"He must be the wandering Jew!"

"He ought to go to prep school at his age!"

"Look at the infant prodigy!"

"He thought this was the old men's home."

"Go up to Harvard!"

Benjamin increased his gait, and soon he was running. He would show them! He would go to Harvard, and then they would regret these ill-considered taunts!

Safely on board the train for Baltimore, he put his head from the window.

"You'll regret this!" he shouted.

"Ha-ha!" the undergraduates laughed. "Ha-ha-ha!"

It was the biggest mistake that Yale College had ever made...

о том, что какой-то маньяк выдержал вступительные экзамены и пытался выдать себя за семнадцатилетнего юношу, облетела город. Весь колледж лихорадило. Студенты выбегали на улицу, позабыв в аудитории свои шляпы, футбольная команда прервала тренировку и присоединилась к толпе, профессорши, со съехавшими на одно ухо шляпками, со сбившимися набок турнюрками, громкими воплями преследовали процессию, а вокруг так и сыпались насмешки, попадавшие в самое уязвимое место Бенджамина Баттона:

— Наверное, это Вечный Жид!

— В его возрасте ему бы быть приготовишкой!

— Только поглядите на этого вундеркинда!

— Он решил, что у нас здесь богадельня!

— Эй, ты, поезжай в Гарвард!

Бенджамин прибавил шагу, потом перешел на рысь. Он им покажет! Да, он поедет в Гарвард, и они еще пожалеют о своих опрометчивых насмешках!

Благополучно укрывшись в вагоне балтиморского поезда, он высунулся из окна.

— Вы еще пожалеете! — заорал он.

— Ха-ха! — хохотали студенты. — Ха-ха-ха!

В тот день Йельский колледж совершил роковую ошибку...

V

In 1880 Benjamin Button was twenty years old, and he signalled his birthday by going to work for his father in Roger Button & Co., Wholesale Hardware. It was in that same year that he began “going out socially”—that is, his father insisted on taking him to several fashionable dances. Roger Button was now fifty, and he and his son were more and more companionable — in fact, since Benjamin had ceased to dye his hair (which was still grayish) they appeared about the same age, and could have passed for brothers.

One night in August they got into the phaeton attired in their full-dress suits and drove out to a dance at the Shevlins’ country house, situated just outside of Baltimore.

It was a gorgeous evening. A full moon drenched the road to the lustreless colour of platinum, and late-blooming harvest flowers breathed into the motionless air aromas that were like low, half-heard laughter. The open country, carpeted for rods around with bright wheat, was translucent as in the day.

It was almost impossible not to be affected by the sheer beauty of the sky — almost.

“There’s a great future in the dry-goods business,” Roger Button was saying.

V

В 1880 году Бенджамину Баттону исполнилось двадцать, и свой день рождения он ознаменовал тем, что стал компаньоном отца в фирме «Роджер Баттон и Ко, оптовая торговля скобяными товарами». В том же году он начал «выезжать в свет», вернее, отец чуть ли не насильно стал вывозить его на светские балы. Роджеру Баттону было уже пятьдесят, и отец с сыном теперь куда больше подходили друг другу — право, с тех пор как Бенджамин перестал красить волосы (в которых все еще пробивалась седина), они казались ровесниками и их вполне можно было принять за братьев.

В один из августовских вечеров они облачились во фраки и отправились в карете к Швелинам, в их загородную усадьбу неподалеку от Балтимора.

Вечер был чудесный. Полная луна заливала дорогу мягким серебристым светом, увядающие осенние цветы наполняли недвижный воздух благоуханием, словно пронизывая его тихим, едва слышным смехом. Широкие поля, покрытые далеко окрест ковром пшеницы, были освещены, как днем.

Казалось бы, никто не мог остаться равнодушным к этой чистой красоте неба... казалось бы...

— Да, у торговли скобяными товарами великое будущее, — говорил Роджер Баттон.

He was not a spiritual man — his aesthetic sense was rudimentary. “Old fellows like me can’t learn new tricks,” he observed profoundly. “It’s you youngsters with energy and vitality that have the great future before you.”

Far up the road the lights of the Shevlins’ country house drifted into view, and presently there was a sighing sound that crept persistently toward them — it might have been the fine plaint of violins or the rustle of the silver wheat under the moon.

They pulled up behind a handsome brougham whose passengers were disembarking at the door. A lady got out, then an elderly gentleman, then another young lady, beautiful as sin. Benjamin started; an almost chemical change seemed to dissolve and recompose the very elements of his body. A rigour passed over him, blood rose into his cheeks, his forehead, and there was a steady thumping in his ears. It was first love.

The girl was slender and frail, with hair that was ashen under the moon and honey-coloured under the sputtering gas-lamps of the porch. Over her shoulders was thrown a Spanish mantilla of softest yellow, butterflyed in black; her feet were glittering buttons at the hem of her bustled dress.

Roger Button leaned over to his son.

Он не был возвышенным человеком — его эстетические чувства пребывали в зачаточном состоянии. — В мои годы уже поздно учиться всем этим нынешним новшествам, — заметил он глубокомысленно. — А вот у вас, подрастающего поколения, полного сил и энергии, великое будущее.

Далеко впереди показались мерцающие огни усадьбы, и вскоре послышался тихий неумолчный ропот — быть может, то вздыхали скрипки или шелестела пшеница в лунном серебре.

Они остановились подле роскошного экипажа, из которого уже высаживались гости. Сначала вышла дама, за ней пожилой господин и еще одна молодая дама, блиставшая ослепительной красотой. Бенджамин вздрогнул, в нем словно началась химическая реакция, все его существо как бы преобразилось. Его охватил озноб, щеки и лоб зарделись, в ушах зашумело. Это пришла первая любовь.

Девушка была стройна и нежна. Под луной ее волосы казались пепельными, а у подъезда, при свете шипящих газовых фонарей, они отливали медовой желтизной. Плечи ее окутывала золотистая испанская мантилья, подбитая черным шелком, очаровательные ножки выглядывали из-под края платья.

Роджер Баттон шепнул сыну:

“That,” he said, “is young Hildegarde Moncrief, the daughter of General Moncrief.”

Benjamin nodded coldly.

“Pretty little thing,” he said indifferently. But when the negro boy had led the buggy away, he added: “Dad, you might introduce me to her.”

They approached a group, of which Miss Moncrief was the centre. Reared in the old tradition, she curtsied low before Benjamin. Yes, he might have a dance. He thanked her and walked away — staggered away. The interval until the time for his turn should arrive dragged itself out interminably. He stood close to the wall, silent, inscrutable, watching with murderous eyes the young bloods of Baltimore as they eddied around Hildegarde Moncrief, passionate admiration in their faces. How obnoxious they seemed to Benjamin; how intolerably rosy! Their curling brown whiskers aroused in him a feeling equivalent to indigestion.

But when his own time came, and he drifted with her out upon the changing floor to the music of the latest waltz from Paris, his jealousies and anxieties melted from him like a mantle of snow. Blind with enchantment, he felt that life was just beginning.

“You and your brother got here just as we did, didn’t you?” asked Hildegarde, looking up at him with eyes that were like bright blue enamel.

— Это юная Хильдегарда Монкриф, дочь генерала Монкрифа.

Бенджамин сдержанно кивнул.

— Недурна, — заметил он равнодушно. А когда негр-слуга отвел лошадей в сторону, добавил: — Папа, ты не мог бы представить ей меня?

Они подошли к гостям, окружившим мисс Монкриф. По старой доброй традиции она сделала Бенджамину глубокий реверанс. Да, разумеется, он может рассчитывать на танец. Он поблагодарил ее и отошел, ноги у него подкашивались. Время ползло мучительно медленно, он едва дождался своей очереди. Он стоял у стены, безмолвный, непроницаемый, взирая убийственным взглядом на восторженно-влюбленные физиономии аристократических отпрысков Балтимора, увивавшихся вокруг Хильдегарды Монкриф. Как они были отвратительны Бенджамину, как невыносимо юны! Их выющиеся каштановые бакенбарды вызывали в нем ощущение, подобное желудочной колике.

Но когда подошла его очередь и он закружился с ней по сверкающему паркету под звуки модного парижского вальса, его ревность и тревога растаяли, как весенний снег. Слепленный и очарованный, он чувствовал, что жизнь только начинается.

— Вы с вашим братом подъехали следом за нами? — спросила Хильдегарда, подняв на него сияющие лазурные глаза.

Benjamin hesitated. If she took him for his father's brother, would it be best to enlighten her? He remembered his experience at Yale, so he decided against it. It would be rude to contradict a lady; it would be criminal to mar this exquisite occasion with the grotesque story of his origin. Later, perhaps. So he nodded, smiled, listened, was happy.

"I like men of your age," Hildegard told him. "Young boys are so idiotic. They tell me how much champagne they drink at college, and how much money they lose playing cards. Men of your age know how to appreciate women."

Benjamin felt himself on the verge of a proposal — with an effort he choked back the impulse.

"You're just the romantic age," she continued, "fifty. Twenty-five is too wordly-wise; thirty is apt to be pale from overwork; forty is the age of long stories that take a whole cigar to tell; sixty is — oh, sixty is too near seventy; but fifty is the mellow age. I love fifty."

Fifty seemed to Benjamin a glorious age. He longed passionately to be fifty.

Бенджамин был в нерешительности. Если она приняла его за брата отца, стоит ли говорить ей правду? Он вспомнил, что приключилось с ним в Йеле, и решил промолчать. Ведь спорить с дамой неприлично; и к тому же было бы просто преступлением портить такие дивные минуты нелепым рассказом о его появлении на свет. Лучше уж как-нибудь потом. Он кивал, улыбался, внимал ей и был на верху блаженства.

— Мне нравятся мужчины в вашем возрасте, — сказала Хильдегарда. — Эти мальчишки так глупы. Хвастают тем, сколько выпивают шампанского в колледже и какую кучу денег проигрывают в карты. А вот мужчины в вашем возрасте умеют ценить женщин.

Бенджамин почувствовал, что готов не сходя с места сделать ей предложение, — усилием воли он подавил этот порыв.

— Вы в самом романтическом возрасте, — продолжала она. — Вам пятьдесят. В двадцать пять мужчины полагают, будто знают все на свете; в тридцать они бывают изнурены работой; в сорок — рассказывают бесконечные истории, слушая которые можно выкурить целый ящик сигар; в шестьдесят... ах, в шестьдесят... там уж и до семидесяти недалеко; а пятьдесят — это пора возмужания. Вот что мне по душе.

И Бенджамин подумал, что нет возраста чудеснее, чем пятьдесят лет. Как жаждал он быть пятидесятилетним мужчиной!

“I’ve always said,” went on Hildegarde, “that I’d rather marry a man of fifty and be taken care of than many a man of thirty and take care of him.”

For Benjamin the rest of the evening was bathed in a honey-coloured mist. Hildegarde gave him two more dances, and they discovered that they were marvellously in accord on all the questions of the day. She was to go driving with him on the following Sunday, and then they would discuss all these questions further.

Going home in the phaeton just before the crack of dawn, when the first bees were humming and the fading moon glimmered in the cool dew, Benjamin knew vaguely that his father was discussing wholesale hardware.

“... And what do you think should merit our biggest attention after hammers and nails?” the elder Button was saying.

“Love,” replied Benjamin absent-mindedly.

“Lugs?” exclaimed Roger Button, “Why, I’ve just covered the question of lugs.”

Benjamin regarded him with dazed eyes just as the eastern sky was suddenly cracked with light, and an oriole yawned piercingly in the quickening trees...

— Я всегда говорила, — продолжала между тем Хильдегарда, — что предпочла бы выйти замуж за пятидесятилетнего, который стал бы меня лелеять, чем за тридцатилетнего и самой лелеять его.

Весь вечер Бенджамин купался в медовой желтизне. Хильдегарда осчастливила его еще двумя танцами, и они выяснили, что их взгляды на все существенные проблемы поразительно совпадают. Она согласилась совершить с ним воскресную прогулку, дабы продолжить этот важный разговор.

Возвращаясь домой уже перед рассветом, когда жужжали ранние пчелы и меркнущая луна отсвечивала в холодных капельках росы, Бенджамин, словно сквозь сон, слышал, как отец толковал про оптовую скобяную торговлю:

— ... а как ты думаешь, кроме молотков и гвоздей, что заслуживает особого внимания?

— Любовь, — рассеянно отозвался Бенджамин.

— Любое?! — воскликнул Роджер Баттон. — Да ведь не можем же мы торговать чем попало!

Бенджамин смотрел на отца невидящим взглядом, а небо на востоке вдруг озарилось светом, и в пробуждающейся листве тоненько засвистела иволга...

VI

When, six months later, the engagement of Miss Hildegarde Moncrief to Mr. Benjamin Button was made known (I say "made known," for General Moncrief declared he would rather fall upon his sword than announce it), the excitement in Baltimore society reached a feverish pitch. The almost forgotten story of Benjamin's birth was remembered and sent out upon the winds of scandal in picaresque and incredible forms. It was said that Benjamin was really the father of Roger Button, that he was his brother who had been in prison for forty years, that he was John Wilkes Booth in disguise — and, finally, that he had two small conical horns sprouting from his head.

The Sunday supplements of the New York papers played up the case with fascinating sketches which showed the head of Benjamin Button attached to a fish, to a snake, and, finally, to a body of solid brass. He became known, journalistically, as the Mystery Man of Maryland. But the true story, as is usually the case, had a very small circulation.

However, everyone agreed with General Moncrief that it was "criminal" for a lovely girl who could have married any beau in Baltimore to throw herself into the arms of a man who was assuredly fifty. In vain Mr. Roger Button published

VI

Полгода спустя, когда стало известно о помолвке мисс Хильдегарды Монкриф и мистера Бенджамина Баттона (я говорю «стало известно», ибо генерал Монкриф заявил, что скорее проткнет себя собственной шпагой, чем официально объявит об этой помолвке), балтиморское общество пришло в лихорадочное волнение. История рождения Бенджамина, почти забытая, снова всплыла наружу и, раздуваемая сплетней, приобрела чудовищный и невероятный вид. Говорили, что в действительности Бенджамин — отец Роджера Баттона; что он — его брат, просидевший сорок лет в тюрьме; что это переодетый Джон Уилкс Бут и, наконец, что на голове у него есть пара маленьких острых рожек.

Воскресные приложения к нью-йоркским газетам подняли шумиху и поместили прелестные карикатуры, изображавшие Бенджамина Баттона то в виде рыбы, то в виде змеи и даже в виде медной болванки. Он фигурировал в газетах как Таинственный Незнакомец из Мэриленда. Истинной же его истории, как это обычно бывает, не знал почти никто.

Однако все соглашались с генералом Монкрифом, что это попросту преступно со стороны очаровательной девушки, которая могла бы выйти за любого из блестящих балтиморских юношей, — броситься в объятия человека, ко-

his son's birth certificate in large type in the Baltimore Blaze. No one believed it. You had only to look at Benjamin and see.

On the part of the two people most concerned there was no wavering. So many of the stories about her fiancé were false that Hildegarde refused stubbornly to believe even the true one. In vain General Moncrief pointed out to her the high mortality among men of fifty — or, at least, among men who looked fifty; in vain he told her of the instability of the wholesale hardware business. Hildegarde had chosen to marry for mellowness, and marry she did...

VII

In one particular, at least, the friends of Hildegarde Moncrief were mistaken. The wholesale hardware business prospered amazingly. In the fifteen years between Benjamin Button's marriage in 1880 and his father's retirement in 1895, the family fortune was doubled — and this was due largely to the younger member of the firm.

Needless to say, Baltimore eventually received the couple to its bosom. Even old General Moncrief

торому никак не меньше пятидесяти. Напрасно мистер Роджер Баттон крупным шрифтом напечатал в балтиморской газете «Пламя» свидетельство о рождении сына. Никто ему не поверил. Стоило только взглянуть на Бенджамина, и все становилось ясным.

Однако те двое, которых эта история касалась более всего, оставались непоколебимы. О женихе Хильдегарды ходило столько лживых сплетен, что она упрямо не хотела поверить даже истине. Напрасно генерал Монкриф указывал ей на высокую смертность среди пятидесятилетних или, во всяком случае, среди людей, которым на вид можно дать пятьдесят; напрасно пытался убедить ее, что скобяная торговля — дело ненадежное. Хильдегарда решила выйти замуж за зрелого мужчину — и отступить не собиралась.

VII

В одном по крайней мере друзья Хильдегарды Монкриф ошибались. Скобяная торговля процветала. За пятнадцать лет, с 1880 года, когда Бенджамин женился, и до 1895-го, когда его отец удалился от дел, их состояние выросло вдвое, главным образом благодаря усилиям Баттона-младшего.

Незачем и говорить, что со временем балтиморское общество приняло супругов в свое ло-

became reconciled to his son-in-law when Benjamin gave him the money to bring out his "History of the Civil War" in twenty volumes, which had been refused by nine prominent publishers.

In Benjamin himself fifteen years had wrought many changes. It seemed to him that the blood flowed with new vigor through his veins. It began to be a pleasure to rise in the morning, to walk with an active step along the busy, sunny street, to work untiringly with his shipments of hammers and his cargoes of nails. It was in 1890 that he executed his famous business coup: he brought up the suggestion that all nails used in nailing up the boxes in which nails are shipped are the property of the shippee, a proposal which became a statute, was approved by Chief Justice Fossile, and saved Roger Button and Company, Wholesale Hardware, more than six hundred nails every year.

In addition, Benjamin discovered that he was becoming more and more attracted by the gay side of life. It was typical of his growing enthusiasm for pleasure that he was the first man in the city of Baltimore to own and run an automobile. Meeting him on the street, his contemporaries would stare enviously at the picture he made of health and vitality.

"He seems to grow younger every year," they would remark.

но. Даже старый генерал Монкриф примирился со своим зятем, после того как Бенджамин дал ему денег на печатание его двенадцатитомной «Истории Гражданской войны», отвергнутой девятью виднейшими издателями.

Да и в самом Бенджамине за пятнадцать лет произошло немало перемен. Ему казалось, что кровь быстрее струится в его жилах. Он теперь с удовольствием вставал ранним утром, бодро шагал по оживленным, залитым солнцем улицам, без усталости принимал и отгружал партии молотков и гвоздей. В 1890 году он нанес решительный удар конкурентам, войдя в Сенат с нижеследующим предложением: все гвозди, которыми заколочены ящики, содержащие гвозди, являются собственностью грузоотправителя, — впоследствии это предложение стало законом, одобренным верховным судьей Фоссайлом, благодаря чему фирма «Роджер Баттон и Ко» стала экономить более шестисот гвоздей ежегодно.

Кроме того, Бенджамин обнаружил, что его все больше привлекают простые радости жизни. Эта растущая тяга к удовольствиям выразилась в том, что он первым в Балтиморе приобрел автомобиль. Встречая Бенджамина на улице, его сверстники обычно с завистью глазели на это воплощение здоровья и энергии.

— Он словно молодеет с каждым годом, — говорили они.

And if old Roger Button, now sixty-five years old, had failed at first to give a proper welcome to his son he atoned at last by bestowing on him what amounted to adulation.

And here we come to an unpleasant subject which it will be well to pass over as quickly as possible. There was only one thing that worried Benjamin Button; his wife had ceased to attract him.

At that time Hildegarde was a woman of thirty-five, with a son, Roscoe, fourteen years old. In the early days of their marriage Benjamin had worshipped her. But, as the years passed, her honey-colored hair became an unexciting brown, the blue enamel of her eyes assumed the aspect of cheap crockery — moreover, and, most of all, she had become too settled in her ways, too placid, too content, too anemic in her excitements, and too sober in her taste.

As a bride it had been she who had “dragged” Benjamin to dances and dinners — now conditions were reversed. She went out socially with him, but without enthusiasm, devoured already by that eternal inertia which comes to live with each of us one day and stays with us to the end.

И если старый Роджер Баттон, которому теперь было шестьдесят пять, поначалу не оценил сына должным образом, то в конце концов он загладил свою вину, так как теперь едва ли не заискивал перед ним.

А теперь мы вынуждены коснуться предмета не слишком приятного, о котором следует сказать как можно короче. Одно лишь тревожило Бенджамина Баттона: он больше уже не испытывал влечения к своей жене.

К этому времени Хильдегарде исполнилось тридцать пять и у нее был четырнадцатилетний сын Роско. В первое время после женитьбы Бенджамин ее боготворил. Но годы шли, ее волосы, некогда отливавшие медовой желтизной, теперь имели тоскливый грязноватый оттенок. Лазурные голубые глаза потускнели и обрели цвет залежавшейся глины, но мало того — и это было главное, — она стала слишком равнодушной, слишком спокойной, слишком самодовольной и вялой в проявлении своих чувств, слишком ограниченной в своих интересах.

До свадьбы именно она вытаскивала Бенджамин на балы и торжественные обеды — а теперь все было наоборот. Она выезжала с ним в свет, но без всякой охоты, будучи во власти той непреодолимой инерции, которая в один прекрасный день завладевает человеком и не покидает его до конца жизни.

Benjamin's discontent waxed stronger. At the outbreak of the Spanish-American War in 1898 his home had for him so little charm that he decided to join the army. With his business influence he obtained a commission as captain, and proved so adaptable to the work that he was made a major, and finally a lieutenant-colonel just in time to participate in the celebrated charge up San Juan Hill. He was slightly wounded, and received a medal.

Benjamin had become so attached to the activity and excitement of army life that he regretted to give it up, but his business required attention, so he resigned his commission and came home. He was met at the station by a brass band and escorted to his house.

VIII

Hildegarde, waving a large silk flag, greeted him on the porch, and even as he kissed her he felt with a sinking of the heart that these three years had taken their toll. She was a woman of forty now, with a faint skirmish line of gray hairs in her head. The sight depressed him.

Up in his room he saw his reflection in the familiar mirror — he went closer and examined his

Неудовольствие Бенджамина росло. В 1898 году, когда разразилась испано-американская война, он был уже до такой степени равнодушен к своему домашнему очагу, что решился пойти в армию добровольцем. Используя свои деловые связи, он получил звание капитана и проявил столь блестящие способности, что был повышен в чине и стал сначала майором, а потом подполковником, в каковом чине и участвовал в знаменитой битве при Сан-Хуан-хилле. Он был легко ранен и награжден медалью.

Бенджамин так привык к бурной и беспокойной армейской жизни, что ему жаль было с ней расстаться, но дела требовали его присутствия, и он, выйдя в отставку, вернулся в Балтимор. На вокзале ему устроили встречу с оркестром и с почетным эскортом проводили до дома.

VIII

Хильдегарда приветствовала его с балкона, размахивая большим шелковым флагом, но, едва поцеловав ее, Бенджамин с болью в сердце понял, что эти три года сделали свое дело. Перед ним была сорокалетняя женщина, в волосах у которой уже пробивалась седина. Это привело его в отчаяние.

Поднявшись к себе, он увидел свое отражение в старом зеркале, подошел ближе и стал с бес-

own face with anxiety, comparing it after a moment with a photograph of himself in uniform taken just before the war.

“Good Lord!” he said aloud.

The process was continuing. There was no doubt of it — he looked now like a man of thirty. Instead of being delighted, he was uneasy — he was growing younger. He had hitherto hoped that once he reached a bodily age equivalent to his age in years, the grotesque phenomenon which had marked his birth would cease to function. He shuddered. His destiny seemed to him awful, incredible.

When he came downstairs Hildegarde was waiting for him. She appeared annoyed, and he wondered if she had at last discovered that there was something amiss. It was with an effort to relieve the tension between them that he broached the matter at dinner in what he considered a delicate way.

“Well,” he remarked lightly, “everybody says I look younger than ever.”

Hildegarde regarded him with scorn. She sniffed.

“Do you think it’s anything to boast about?”

“I’m not boasting,” he asserted uncomfortably.

She sniffed again.

покойством рассматривать собственное лицо, то и дело поглядывая на фотографию, сделанную перед войной.

— О господи! — вырвалось у него.

Поразительный процесс продолжался. Сомнений не было — теперь он выглядел лет на тридцать. Он ничуть не обрадовался, напротив, ему стало не по себе: он неотвратимо молодеел. Прежде у него еще была надежда, что, когда тело его придет в соответствие с его подлинным возрастом, природа исправит ошибку, которую она совершила при его появлении на свет. Он содрогнулся. Будущее представилось ему ужасным, чудовищным.

Внизу его уже ждала Хильдегарда. Вид у нее был злобный, и он подумал, что она, должно быть, заподозрила неладное. Стремясь сгладить натянутость, он за обедом завел разговор на волновавшую его тему в весьма, как ему казалось, деликатной форме.

— Знаешь, — обронил он как будто вскользь, — все находят, что я помолодел.

Хильдегарда бросила на него презрительный взгляд и фыркнула.

— Нашел чем хвастать.

— Я не хвастаю, — заверил он ее, испытывая мучительную неловкость.

Она снова фыркнула.

“The idea,” she said, and after a moment: “I should think you’d have enough pride to stop it.”

“How can I?” he demanded.

“I’m not going to argue with you,” she retorted. “But there’s a right way of doing things and a wrong way. If you’ve made up your mind to be different from everybody else, I don’t suppose I can stop you, but I really don’t think it’s very considerate.”

“But, Hildegarde, I can’t help it.”

“You can too. You’re simply stubborn. You think you don’t want to be like any one else. You always have been that way, and you always will be. But just think how it would be if every one else looked at things as you do — what would the world be like?”

As this was an inane and unanswerable argument Benjamin made no reply, and from that time on a chasm began to widen between them. He wondered what possible fascination she had ever exercised over him.

To add to the breach, he found, as the new century gathered headway, that his thirst for gayety grew stronger. Never a party of any kind in the city of Baltimore but he was there, dancing with the prettiest of the young married women, chatting with the most popular of the debutantes, and finding their company charming, while his wife,

— Хорошенькое дело, — сказала она и, помолчав, добавила: — Надеюсь, ты найдешь в себе силы положить этому конец.

— Но как? — спросил он с удивлением.

— Я не намерена с тобой спорить, — заявила она. — Всякий поступок может быть приличен или неприличен, в зависимости от обстоятельств. Если ты решил быть таким оригиналом, что ж, помешать тебе я не могу, однако мне кажется, все это не слишком деликатно с твоей стороны.

— Но, Хильдегарда, поверь, я тут ничего не могу поделать.

— И я тоже. Ты попросту упрямисься. Ты решил быть оригиналом, был им всю жизнь и таким останешься. Но вообрази, на что это было бы похоже, если бы каждый смотрел на вещи так, как ты, — во что превратился бы мир?

На этот нелепый довод нечего было ответить, и Бенджамин промолчал, но с этой минуты пропасть, их разделявшая, стала еще шире. Он мог только удивляться, как это она некогда сумела его очаровать.

А тут еще он обнаружил, что с приходом нового века жажда удовольствий в нем, как на грех, стала возрастать. Он бывал на всех приемах в Балтиморе, танцевал с молодыми замужними дамами, болтал с красавицами, впервые блиставшими на балах, пленялся ими, а его супруга, словно старая вдова, чье лицо не сулило

a dowager of evil omen, sat among the chaperons, now in haughty disapproval, and now following him with solemn, puzzled, and reproachful eyes.

“Look!” people would remark. “What a pity! A young fellow that age tied to a woman of forty-five. He must be twenty years younger than his wife.”

They had forgotten — as people inevitably forget — that back in 1880 their mammas and papas had also remarked about this same ill-matched pair.

Benjamin’s growing unhappiness at home was compensated for by his many new interests. He took up golf and made a great success of it. He went in for dancing: in 1906 he was an expert at “The Boston,” and in 1908 he was considered proficient at the “Maxixe,” while in 1909 his “Castle Walk” was the envy of every young man in town.

His social activities, of course, interfered to some extent with his business, but then he had worked hard at wholesale hardware for twenty-five years and felt that he could soon hand it on to his son, Roscoe, who had recently graduated from Harvard.

He and his son were, in fact, often mistaken for each other. This pleased Benjamin — he soon forgot the insidious fear which had come over him

ничего доброго, сидела среди пожилых матрон, то напуская на себя надменный и презрительный вид, то следя за ним пристальным, удивленным, полным упрека взглядом.

— Подумать только! — говорили вокруг. — Какая жалость! Такой молодой человек, а женат на сорокапятилетней старухе! Да ведь он лет на двадцать ее моложе.

Они забыли — ведь людская память так коротка, — что в 1880 году их мамы и папы тоже судачили об этом неравном браке.

Неприятности, которые Бенджамину приходилось терпеть в своем семействе, окупались новыми интересами, которые у него появились. Он начал играть в гольф и делал необычайные успехи. Он увлекся танцами: в девятьсот шестом году он неподражаемо исполнял бостон, в девятьсот восьмом — максиксе, а в девятьсот девятом все юноши в городе завидовали его умению танцевать кастл-уок.

Разумеется, дела несколько мешали его светским успехам, но ведь он занимался скобяной торговлей вот уже двадцать пять лет и теперь полагал, что вскоре сможет передать ее в руки своего сына Роско, который недавно окончил Гарвардский университет.

Люди часто принимали его за Роско, и наоборот. Бенджамину это было приятно — он вскоре забыл зловещий страх, который охватил его,

on his return from the Spanish-American War, and grew to take a naïve pleasure in his appearance. There was only one fly in the delicious ointment — he hated to appear in public with his wife. Hildegarde was almost fifty, and the sight of her made him feel absurd...

IX

One September day in 1910—a few years after Roger Button & Co., Wholesale Hardware, had been handed over to young Roscoe Button — a man, apparently about twenty years old, entered himself as a freshman at Harvard University in Cambridge. He did not make the mistake of announcing that he would never see fifty again, nor did he mention the fact that his son had been graduated from the same institution ten years before.

He was admitted, and almost immediately attained a prominent position in the class, partly because he seemed a little older than the other freshmen, whose average age was about eighteen.

But his success was largely due to the fact that in the football game with Yale he played so brilliantly, with so much dash and with such a cold, remorseless anger that he scored seven touchdowns and fourteen field goals for Harvard, and

когда он вернулся с испано-американской войны, и стал наивно радоваться своей внешности. В этой бочке меда была лишь одна ложка дегтя: он терпеть не мог появляться на людях с женой. Хильдегарде было уже под пятьдесят, и, глядя на нее, он чувствовал себя нелепо...

IX

Однажды, в сентябре 1910 года, через несколько лет после того, как фирма «Роджер Баттон и Ко» перешла в руки Роско Баттона, некий молодой человек, которому на вид можно было дать лет двадцать, поступил на первый курс Гарвардского университета в Кембридже. Он не сделал роковой оплошности и умолчал о том, что ему уже далеко за пятьдесят и что его сын окончил это же самое учебное заведение десять лет назад.

Его зачислили в университет, и в самом скором времени он оказался среди первых в своей группе, отчасти, вероятно, потому, что выглядел чуть постарше своих однокурсников, большинству из которых было восемнадцать лет.

Но настоящий успех пришел к нему, лишь когда он сыграл в футбольном матче против команды Йельского колледжа с таким блеском и холодной, беспощадной яростью, что забил семь штрафных и четырнадцать обычных мя-

caused one entire eleven of Yale men to be carried singly from the field, unconscious.

Strange to say, in his third or junior year he was scarcely able to “make” the team. The coaches said that he had lost weight, and it seemed to the more observant among them that he was not quite as tall as before.

He made no touchdowns — indeed, he was retained on the team chiefly in hope that his enormous reputation would bring terror and disorganisation to the Yale team.

In his senior year he did not make the team at all. He had grown so slight and frail that one day he was taken by some sophomores for a freshman, an incident which humiliated him terribly. He became known as something of a prodigy — a senior who was surely no more than sixteen — and he was often shocked at the worldliness of some of his classmates. His studies seemed harder to him — he felt that they were too advanced. He had heard his classmates speak of St. Midas’, the famous preparatory school, at which so many of them had prepared for college, and he determined after his graduation to enter himself at St. Midas’, where the sheltered life among boys his own size would be more congenial to him.

Upon his graduation in 1914 he went home to Baltimore with his Harvard diploma in his pocket. Hildegard was now residing in Italy, so Benjamin

чей в ворота соперников, после чего все одиннадцать игроков один за другим были в беспмятстве унесены с поля.

Однако, как ни странно, на третьем курсе он уже едва мог играть в футбол. Тренеры замечали, что он сбавил в весе, и от самых наблюдательных не укрылось, что он стал несколько ниже ростом.

Он больше не забивал мячей — его терпели в команде главным образом потому, что наделись на его громкую славу, приводившую йельцев в трепет и замешательство.

На последнем курсе он уже совсем не в состоянии был играть. Он стал таким щуплым и хилым, что один второкурсник даже принял его за новичка, и это было для него горьким унижением. О нем заговорили как о вундеркинде — старшекурсник, которому не больше шестнадцати лет! — и искушенность сверстников часто заставляла его краснеть. Ему все труднее становилось учиться, материал казался слишком сложным. Он слышал некогда от сокурсников о школе Святого Мидаса, приготовительном заведении, где многие из них учились перед колледжем, и решил после окончания университета поступить туда, чтобы беспечно жить среди мальчиков своего роста.

В 1914 году, окончив колледж, он вернулся в Балтимор с гарвардским дипломом в кармане. Хильдегарда к тому времени переехала в Ита-

went to live with his son, Roscoe. But though he was welcomed in a general way there was obviously no heartiness in Roscoe's feeling toward him — there was even perceptible a tendency on his son's part to think that Benjamin, as he moped about the house in adolescent mooniness, was somewhat in the way. Roscoe was married now and prominent in Baltimore life, and he wanted no scandal to creep out in connection with his family.

Benjamin, no longer persona grata with the débutantes and younger college set, found himself left much alone, except for the companionship of three or four fifteen-year-old boys in the neighborhood. His idea of going to St. Midas school recurred to him.

"Say," he said to Roscoe one day, "I've told you over and over that I want to go to prep school."

"Well, go, then," replied Roscoe shortly. The matter was distasteful to him, and he wished to avoid a discussion.

"I can't go alone," said Benjamin helplessly. "You'll have to enter me and take me up there."

"I haven't got time," declared Roscoe abruptly. His eyes narrowed and he looked uneasily at his father. "As a matter of fact," he added, "you'd better not go on with this business much longer. You better pull up short. You better — you better"— he paused and his face crimsoned as he

лию, и Бенджамин поселился со своим сыном Роско. Роско встретил отца приветливо, но все же в его чувствах явно не было сердечности — сын, очевидно, склонен был даже считать, что Бенджамин, который слонялся по дому, предаваясь юношеским мечтаниям, мешает ему. Роско уже был женат, занимал в Балтиморе видное положение и не хотел, чтобы его семейства коснулась сплетня.

Бенджамин, которого больше не жаловали ни юные красавицы, ни студенты, остался в одиночестве, если не считать трех или четырех пятнадцатилетних мальчишек, живших по соседству. Вскоре он вернулся к мысли о поступлении в школу Святого Мидаса.

— Послушай, — сказал он однажды Роско, — я ведь тебе давно говорю, что хочу ездить в подготовительную школу.

— Что ж, поезжай, — коротко отозвался Роско. Он старался уклониться от неприятного разговора.

— Но не могу же я ездить туда один, — сказал Бенджамин жалобно. — Придется тебе отвозить и привозить меня.

— Мне некогда, — резко оборвал его Роско. Глаза его сузились, он смотрел на отца с неприязнью. — И должен тебе сказать, — добавил он, — брось-ка ты это дело. Лучше остановись... Лучше... лучше... — Он запнулся. — Лучше ты повернись налево кругом и дай задний ход. Шут-

sought for words—"you better turn right around and start back the other way. This has gone too far to be a joke. It isn't funny any longer. You — you behave yourself!"

Benjamin looked at him, on the verge of tears.

"And another thing," continued Roscoe, "when visitors are in the house I want you to call me 'Uncle'—not 'Roscoe,' but 'Uncle,' do you understand? It looks absurd for a boy of fifteen to call me by my first name. Perhaps you'd better call me 'Uncle' all the time, so you'll get used to it."

With a harsh look at his father, Roscoe turned away...

X

At the termination of this interview, Benjamin wandered dismally upstairs and stared at himself in the mirror. He had not shaved for three months, but he could find nothing on his face but a faint white down with which it seemed unnecessary to meddle. When he had first come home from Harvard, Roscoe had approached him with the proposition that he should wear eye-glasses and imitation whiskers glued to his cheeks, and it had seemed for a moment that the farce of his early years was to be repeated. But whiskers had itched and made him ashamed. He wept and Roscoe had reluctantly relented.

Benjamin opened a book of boys' stories, "The Boy Scouts in Bimini Bay," and began to read. But he found himself thinking persistently about the

ка зашла слишком далеко. Это уже не смешно. Веди себя... прилично!

Бенджамин смотрел на него, глотая слезы.

— И вот еще что, — продолжал Роско. — Я хочу, чтобы при гостях ты звал меня «дядя» — не Роско, а «дядя», понял? Просто нелепо, когда пятнадцатилетний мальчишка зовет меня по имени. Лучше даже, если ты всегда станешь звать меня «дядей», тогда быстрее привыкнешь.

Роско бросил на отца суровый взгляд и отвернулся.

Х

После этого разговора Бенджамин уныло поплелся наверх и поглядел на себя в зеркало. Он не брился вот уже три месяца, но не увидел на своем лице ничего, кроме светлого пушка, который попросту не стоил внимания. Когда он вернулся из Гарварда, Роско предложил ему надеть очки и наклеить на щеки бакенбарды, и тогда ему вдруг показалось, что повторяется комедия первых лет его жизни. Но щеки под бакенбардами чесались, и, кроме того, ему было стыдно их носить. Он заплакал, и Роско над ним сжался.

Бенджамин принялся было читать детскую книжку «Бойскауты Бимини Бей». Но вдруг он поймал себя на том, что неотвязно думает о вой-

war. America had joined the Allied cause during the preceding month, and Benjamin wanted to enlist, but, alas, sixteen was the minimum age, and he did not look that old. His true age, which was fifty-seven, would have disqualified him, anyway.

There was a knock at his door, and the butler appeared with a letter bearing a large official legend in the corner and addressed to Mr. Benjamin Button. Benjamin tore it open eagerly, and read the enclosure with delight. It informed him that many reserve officers who had served in the Spanish-American War were being called back into service with a higher rank, and it enclosed his commission as brigadier-general in the United States army with orders to report immediately.

Benjamin jumped to his feet fairly quivering with enthusiasm. This was what he had wanted. He seized his cap, and ten minutes later he had entered a large tailoring establishment on Charles Street, and asked in his uncertain treble to be measured for a uniform.

“Want to play soldier, sonny?” demanded a clerk casually.

Benjamin flushed.

“Say! Never mind what I want!” he retorted angrily. “My name’s Button and I live on Mt. Vernon Place, so you know I’m good for it.”

не. За месяц перед тем Америка примкнула к союзникам, и Бенджамин решил пойти добровольцем, но, увы, для этого нужно было иметь хотя бы шестнадцать лет от роду, а он выглядел заметно моложе. Однако, если б он сказал правду — что ему пятьдесят семь лет, — его не взяли бы по старости.

Раздался стук в дверь, и дворецкий подал конверт, на котором стоял большой официальный штамп; письмо было адресовано Бенджамину Баттону. Бенджамин торопливо вскрыл конверт и с чувством восторга прочитал письмо. Его уведомляли, что многие офицеры запаса, служившие в рядах армии во время испано-американской войны, вновь призываются с повышением в чине; к письму были приложены приказ о производстве его в бригадные генералы армии Соединенных Штатов и предписание явиться немедленно.

Бенджамин вскочил, дрожа от нетерпения. Именно об этом он и мечтал! Он схватил шапку и уже через десять минут, войдя в большую швейную мастерскую на Чарльз-стрит, срывающимся дискантом заказал себе военную форму.

— Хочешь поиграть в войну, сынок? — небрежно спросил приемщик.

Бенджамин рассвирепел.

— Послушайте! Не ваше дело, чего я хочу! — ответил он зло. — Моя фамилия Баттон, я живу на Маунт-Вернон-плейс, так что можете не сомневаться, что я вправе носить форму.

“Well,” admitted the clerk hesitantly, “if you’re not, I guess your daddy is, all right.”

Benjamin was measured, and a week later his uniform was completed. He had difficulty in obtaining the proper general’s insignia because the dealer kept insisting to Benjamin that a nice Y. W. C. A. badge would look just as well and be much more fun to play with.

Saying nothing to Roscoe, he left the house one night and proceeded by train to Camp Mosby, in South Carolina, where he was to command an infantry brigade. On a sultry April day he approached the entrance to the camp, paid off the taxicab which had brought him from the station, and turned to the sentry on guard.

“Get some one to handle my luggage!” he said briskly.

The sentry eyed him reproachfully.

“Say,” he remarked, “where you goin’ with the general’s duds, sonny?”

Benjamin, veteran of the Spanish-American War, whirled upon him with fire in his eye, but with, alas, a changing treble voice.

“Come to attention!”

He tried to thunder; he paused for breath — then suddenly he saw the sentry snap his heels together and bring his rifle to the present. Benjamin concealed a smile of gratification, but when

— Ну что ж, — сказал приемщик с сомнением. — Не ты, так твой отец, стало быть, это все едино.

С Бенджамина сняли мерку, и через неделю форма была готова. Труднее было приобрести генеральские знаки различия, потому что торговец настойчиво уверял Бенджамина в том, что красивый значок ХАМЛ ничуть не хуже и с ним даже интереснее играть.

И вот ночью, не сказав Роско ни слова, он покинул дом и поездом доехал до военного лагеря в Мосби, штат Южная Каролина, где должен был принять под свое командование пехотную бригаду. В знойный апрельский день он подъехал к воротам лагеря, расплатился с шофером такси, привезшим его с вокзала, и обратился к часовому у ворот.

— Кликни кого-нибудь, чтобы отнесли мои вещи, — скомандовал он.

Часовой укоризненно взглянул на него.

— Вот так штука! — заметил он. — И далеко ты собрался в генеральской одежке, сынок?

Бенджамин, почетный ветеран испано-американской войны, напустился на него, сверкая глазами, но, увы, при этом дал петуха:

— Смирно!

Он хотел крикнуть это громовым голосом, набрал воздуха... и вдруг увидел, что часовой щелкнул каблуками и сделал на караул. Бенджамин попытался скрыть довольную улыбку, но, когда

he glanced around his smile faded. It was not he who had inspired obedience, but an imposing artillery colonel who was approaching on horseback.

“Colonel!” called Benjamin shrilly.

The colonel came up, drew rein, and looked coolly down at him with a twinkle in his eyes.

“Whose little boy are you?” he demanded kindly.

“I’ll soon darn well show you whose little boy I am!” retorted Benjamin in a ferocious voice. “Get down off that horse!”

The colonel roared with laughter.

“You want him, eh, general?”

“Here!” cried Benjamin desperately. “Read this.”

And he thrust his commission toward the colonel.

The colonel read it, his eyes popping from their sockets.

“Where’d you get this?” he demanded, slipping the document into his own pocket.

“I got it from the Government, as you’ll soon find out!”

“You come along with me,” said the colonel with a peculiar look. “We’ll go up to headquarters and talk this over. Come along.”

The colonel turned and began walking his horse in the direction of headquarters. There was noth-

он обернулся, улыбка исчезла с его лица. Часовой приветствовал вовсе не его, а внушительно-го артиллерийского полковника, который подъехал к воротам верхом.

— Полковник! — пронзительно окликнул его Бенджамин.

Полковник подъехал вплотную, натянул поводья, взглянул на Бенджамина, и его глаза насмешливо блеснули.

— Ты чей, малыш? — спросил он ласково.

— Вот я тебе сейчас покажу малыша, чертова кукла! — угрожающе заявил Бенджамин. — Ну-ка слезай с коня!

Полковник захохотал во все горло.

— Тебе нужен конь, а, генерал?

— Вот! — крикнул Бенджамин в изнеможении. — Читайте!

И он швырнул полковнику приказ о своем производстве в генеральский чин.

У полковника глаза полезли на лоб.

— Кто тебе это дал? — спросил он и сунул приказ в карман.

— Правительство, в чем вы очень скоро сможете убедиться!

— Ступай за мной, — сказал полковник; лицо у него было растерянное. — Я отведу тебя в главный штаб, там разберемся. Идем.

И полковник пошел к штабу, ведя коня под уздцы. Бенджамину ничего не оставалось, как

ing for Benjamin to do but follow with as much dignity as possible — meanwhile promising himself a stern revenge.

But this revenge did not materialize. Two days later, however, his son Roscoe materialized from Baltimore, hot and cross from a hasty trip, and escorted the weeping general, sans uniform, back to his home.

XI

In 1920 Roscoe Button's first child was born. During the attendant festivities, however, no one thought it "the thing" to mention, that the little grubby boy, apparently about ten years of age who played around the house with lead soldiers and a miniature circus, was the new baby's own grandfather.

No one disliked the little boy whose fresh, cheerful face was crossed with just a hint of sadness, but to Roscoe Button his presence was a source of torment. In the idiom of his generation Roscoe did not consider the matter "efficient."

It seemed to him that his father, in refusing to look sixty, had not behaved like a "red-blooded he-man"— this was Roscoe's favorite expression — but in a curious and perverse manner. Indeed, to

последовать за ним, стараясь соблюсти достоинство, причем в душе он клялся жестоко отомстить полковнику.

Но ему не суждено было осуществить эту месть. Вместо этого ему было суждено улицезреть своего сына Роско, который на второй день примчался из Балтимора, злой и раздосадованный тем, что пришлось ехать, бросив все дела, и препроводил плачущего генерала, теперь уже без мундира, обратно домой.

XI

В 1920 году у Роско Баттона родился первенец. Однако во время торжества по этому случаю никто не считал нужным упомянуть о том, что грязный мальчишка, лет десяти на вид, который играл возле дома в оловянных солдатиков и детский цирк, доводится новорожденному дедом.

Этот маленький мальчик, чье свежее, улыбающееся личико носило на себе едва уловимый след печали, ни у кого не вызывал неприязни, но для Роско Баттона его присутствие было хуже всякой пытки. Выражаясь языком поколения Роско, это был «неделовой подход».

Он полагал, что отец, не желая выглядеть шестидесятилетним стариком, вел себя отнюдь не так, как пристало «уважающему себя деляге» — это было любимое выражение Роско, — а дико

think about the matter for as much as a half an hour drove him to the edge of insanity. Roscoe believed that “live wires” should keep young, but carrying it out on such a scale was — was — was inefficient. And there Roscoe rested.

Five years later Roscoe’s little boy had grown old enough to play childish games with little Benjamin under the supervision of the same nurse. Roscoe took them both to kindergarten on the same day, and Benjamin found that playing with little strips of colored paper, making mats and chains and curious and beautiful designs, was the most fascinating game in the world. Once he was bad and had to stand in the corner — then he cried — but for the most part there were gay hours in the cheerful room, with the sunlight coming in the windows and Miss Bailey’s kind hand resting for a moment now and then in his tousled hair.

Roscoe’s son moved up into the first grade after a year, but Benjamin stayed on in the kindergarten. He was very happy. Sometimes when other tots talked about what they would do when they grew up a shadow would cross his little face as if in a dim, childish way he realized that those were things in which he was never to share.

The days flowed on in monotonous content. He went back a third year to the kindergarten, but he was too little now to understand what the bright shining strips of paper were for. He cried because the other boys were bigger than he, and he was afraid

и отвратительно. Право, стоило ему задуматься над этим, и через каких-нибудь полчаса он чувствовал, что сходит с ума. Роско считал, что энергичные люди должны сохранять молодость, но надо же знать меру, ведь это... это... просто неделовой подход! И на том Роско стоял.

Через пять лет его маленький сын мог уже играть с маленьким Бенджамином под присмотром одной няни. Роско одновременно отдал обоих в детский сад, и Бенджамин обнаружил, что нет в мире чудеснее игры, чем возиться с разноцветными полосками бумаги, плести корзиночки, делать цепочки и рисовать забавные, красивые узоры. Однажды он нашалил, его поставили в угол, и он заплакал, но обычно ему бывало весело в светлой, залитой солнцем комнате, где ласковая рука мисс Бейли касалась иногда его взъерошенных волос.

Сын Роско через год пошел в первый класс, а Бенджамин остался в детском саду. Он был счастлив. Правда, порой, когда другие малыши говорили о том, кем они станут, когда вырастут, по его лицу пробегала тень, как будто своим слабым детским умом он понимал, что ему все это навеки недоступно.

Дни текли однообразно. Уже третий год он ходил в детский сад, но теперь он был слишком мал, чтобы играть с яркими бумажными полосками. Он плакал, потому что другие мальчики были больше его и он их боялся. Воспитатель-

of them. The teacher talked to him, but though he tried to understand he could not understand at all.

He was taken from the kindergarten. His nurse, Nana, in her starched gingham dress, became the centre of his tiny world. On bright days they walked in the park; Nana would point at a great gray monster and say "elephant," and Benjamin would say it after her, and when he was being undressed for bed that night he would say it over and over aloud to her:

"Elyphant, elyphant, elyphant."

Sometimes Nana let him jump on the bed, which was fun, because if you sat down exactly right it would bounce you up on your feet again, and if you said "Ah" for a long time while you jumped you got a very pleasing broken vocal effect.

He loved to take a big cane from the hatrack and go around hitting chairs and tables with it and saying:

"Fight, fight, fight."

When there were people there the old ladies would cluck at him, which interested him, and the young ladies would try to kiss him, which he submitted to with mild boredom. And when the long day was done at five o'clock he would go upstairs with Nana and be fed oatmeal and nice soft mushy foods with a spoon.

There were no troublesome memories in his childish sleep; no token came to him of his brave days at college, of the glittering years when he

ница что-то говорила ему, но он ничего не понимал.

Его забрали из детского сада. Центром его крошечного мирка стала няня Нана в накрахмаленном полосатом платье. В хорошую погоду они ходили гулять в парк; Нана указывала на огромное серое чудовище и говорила: «Слон», а Бенджамин повторял за ней это слово, и когда его укладывали вечером спать, он без конца твердил:

— Слён, слён, слён.

Иногда Нана позволяла ему попрыгать на кровати, и это было очень весело, потому что, если сесть на нее с размаху, упругий матрасик подбросит кверху, а если при этом протяжно говорить: «А-а-а», голос так смешно вибрирует.

Он любил брать трость, стоявшую у вешалки, и сражаться со стульями и столами, приговаривая:

— Трах-тарарах!

Когда приходили гости, пожилые дамы сюсюкали над ним, и это было ему приятно, а молодые норовили чмокнуть его, и он покорялся без всякой охоты. В пять часов долгий день кончался, Нана уводила его наверх кормить овсянкой или другой кашкой с ложечки.

Его детские сны были свободны от бурных воспоминаний; он не помнил ни о славных временах в колледже, ни о той блистательной поре, когда он волновал сердца многих красавиц.

flustered the hearts of many girls. There were only the white, safe walls of his crib and Nana and a man who came to see him sometimes, and a great big orange ball that Nana pointed at just before his twilight bed hour and called "sun." When the sun went his eyes were sleepy — there were no dreams, no dreams to haunt him.

The past — the wild charge at the head of his men up San Juan Hill; the first years of his marriage when he worked late into the summer dusk down in the busy city for young Hildegarde whom he loved; the days before that when he sat smoking far into the night in the gloomy old Button house on Monroe Street with his grandfather — all these had faded like unsubstantial dreams from his mind as though they had never been.

He did not remember. He did not remember clearly whether the milk was warm or cool at his last feeding or how the days passed — there was only his crib and Nana's familiar presence. And then he remembered nothing. When he was hungry he cried — that was all. Through the noons and nights he breathed and over him there were soft mumblings and murmurings that he scarcely heard, and faintly differentiated smells, and light and darkness.

Then it was all dark, and his white crib and the dim faces that moved above him, and the warm sweet aroma of the milk, faded out altogether from his mind.

Для него существовала лишь белая, уютная колыбель, Нана, какой-то человек, который приходил иногда взглянуть на него, и огромный оранжевый шар; по вечерам, перед сном, Нана указывала на этот шар и говорила: «Солнце». Когда солнце скрывалось, он уже безмятежно спал и кошмары не мучили его.

Прошлое — как он вел своих солдат на штурм Сан-Хуан-хилла; как прожил первые годы после женитьбы, работая до летних сумерек, вертясь в людском водовороте ради юной Хильдегарды, которую любил без памяти; как еще прежде сидел до поздней ночи, покуривая сигару, в старинном, мрачном доме Баттонов на Монро-стрит вместе со своим дедом — исчезло из его памяти, подобно мимолетному сну, словно этого и не бывало вовсе.

Он ничего не помнил. Не помнил даже, теплым или холодным молоком его только что поили, не замечал, как проходили дни, — для него существовали лишь колыбель и Нана, к которой он давно привык. А потом он совсем утратил память. Когда он хотел есть, он плакал — только и всего. Дни и ночи сменяли друг друга, он еще дышал, и над ним слышалось какое-то бормотание, шепоты, едва достигавшие его слуха, и был свет и темнота.

А потом наступил полный мрак: белая колыбелька, и смутные лица, склонившиеся над ним, и чудесный запах теплого, сладкого молока — все исчезло для него навек.

Bernice bobs her hair

I

After dark on Saturday night one could stand on the first tee of the golf-course and see the country-club windows as a yellow expanse over a very black and wavy ocean. The waves of this ocean, so to speak, were the heads of many curious caddies, a few of the more ingenious chauffeurs, the golf professional's deaf sister — and there were usually several stray, diffident waves who might have rolled inside had they so desired. This was the gallery.

The balcony was inside. It consisted of the circle of wicker chairs that lined the wall of the combination clubroom and ballroom. At these Saturday-night dances it was largely feminine; a great babel of middle-aged ladies with sharp eyes and icy hearts behind lorgnettes and large bosoms. The main function of the balcony was critical, it oc-

Волосы Вероники

I

Субботним вечером, если взглянуть с площадки для гольфа, окна загородного клуба в сгустившихся сумерках покажутся желтыми далями над кромешно-черным взволнованным океаном. Волнами этого, фигурально выражаясь, океана будут головы любопытствующих кэдди, кое-кого из наиболее пронирыливых шоферов, глухой сестры клубного тренера; порою плещутся тут и отколовшиеся робкие волны, которым — пожелай они того — ничто не мешает вкатиться внутрь. Это галерка.

Бельэтаж помещается внутри. Его образует круг плетеных стульев, окаймляющих залу — клубную и бальную одновременно. По субботним вечерам бельэтаж занимают в основном дамы; шумное скопище почтенных особ с бдительными глазами под укрытием лорнеток и не знающими пощады сердцами под укрытием мо-

casionaly showed grudging admiration, but never approval, for it is well known among ladies over thirty-five that when the younger set dance in the summer-time it is with the very worst intentions in the world, and if they are not bombarded with stony eyes stray couples will dance weird barbaric interludes in the corners, and the more popular, more dangerous, girls will sometimes be kissed in the parked limousines of unsuspecting dowagers.

But, after all, this critical circle is not close enough to the stage to see the actors' faces and catch the subtler byplay. It can only frown and lean, ask questions and make satisfactory deductions from its set of postulates, such as the one which states that every young man with a large income leads the life of a hunted partridge. It never really appreciates the drama of the shifting, semi-cruel world of adolescence. No; boxes, orchestra-circle, principals, and chorus be represented by the medley of faces and voices that sway to the plaintive African rhythm of Dyer's dance orchestra.

From sixteen-year-old Otis Ormonde, who has two more years at Hill School, to G. Reece Stoddard, over whose bureau at home hangs a Harvard law diploma; from little Madeleine Hogue, whose hair still feels strange and uncomfortable on top

гучих бюстов. Бельэтаж выполняет функции по преимуществу критические. Восхищение, хоть и весьма неохотно, бельэтажу временами случается выказать, одобрение — никогда, ибо дам под сорок не провести: они знают, что молодежь способна на все и, если ее хоть на минуту выпустить из виду, отдельные парочки будут исполнять по углам дикие пляски, а самых дерзких, самых опасных покорительниц сердец того и гляди станут целовать в лимузинах ничего не подозревающих вдовиц.

Однако этот критический кружок слишком удален от сцены — ему не разглядеть лиц актеров, не уловить тончайшей мимики. На его долю остается хмуриться, вытягивать шеи, задавать вопросы и делать приблизительные выводы, исходя из готового набора аксиом — вроде такой, например: за каждым богатым юнцом охотятся более рьяно, чем за куропаткой. Критическому кружку непонятна сложная жизнь неугомонного жестокого мира молодых. Нет, ложи, партер, ведущие актеры и хор — все это там, где кутерьма лиц и голосов, плывущих под рыдающие африканские ритмы танцевального оркестра Дайера.

В этой кутерьме, где толкнутся все — от шестнадцатилетнего Отиса Ормонда, которому до университета предстоят еще два года Хилл-колледжа, до Д. Риса Стоддарда, над чьим письменным столом красуется диплом юридического

of her head, to Bessie MacRae, who has been the life of the party a little too long — more than ten years — the medley is not only the centre of the stage but contains the only people capable of getting an unobstructed view of it.

With a flourish and a bang the music stops. The couples exchange artificial, effortless smiles, facetiously repeat “LA-de-DA-DA dum-DUM,” and then the clatter of young feminine voices soars over the burst of clapping.

A few disappointed stags caught in midfloor as they had been about to cut in subsided listlessly back to the walls, because this was not like the riotous Christmas dances — these summer hops were considered just pleasantly warm and exciting, where even the younger marrieds rose and performed ancient waltzes and terrifying foxtrots to the tolerant amusement of their younger brothers and sisters.

Warren McIntyre, who casually attended Yale, being one of the unfortunate stags, felt in his dinner-coat pocket for a cigarette and strolled out onto the wide, semidark veranda, where couples were scattered at tables, filling the lantern-hung night with vague words and hazy laughter. He nodded here and there at the less absorbed and as

факультета Гарварда; от маленькой Маделейн Хог, которая никак не привыкнет к высокой прическе, до Бесси Макрей, которая несколько долго, пожалуй лет десять с лишком, пробыла душой общества, — в этой кутерьме не только самый центр действия, лишь отсюда можно по настоящему следить за происходящим.

Оркестр залихватски обрывает музыку на оглушительной ноте. Парочки обмениваются натянуто-непринужденными улыбками, игриво напевают «та-рари-рам-пам-пам», и над аплодисментами взмывает стрекот девичьих голосов.

Несколько кавалеров, которых антракт застиг в тот самый момент, когда они устремлялись разбить очередную парочку, раздосадованно отступают на свои места вдоль стен: эти летние танцевальные вечера не такие буйные, как рождественские балы, тут веселятся в меру, тут и женатые пары помоложе рискуют покружиться в допотопных вальсах или потоптаться в неуклюжих фокстротах под снисходительные усмешки младших братьев и сестер.

В числе этих незадачливых кавалеров оказался и Уоррен Макинтайр, не слишком прилежный студент Йельского университета; нашарив в кармане сигарету, он вышел из залы. На просторной полуосвещенной веранде за столиками там и сям сидели парочки, наполняя расцвеченную фонариками ночь смутным говором и зыб-

he passed each couple some half-forgotten fragment of a story played in his mind, for it was not a large city and every one was Who's Who to every one else's past. There, for example, were Jim Strain and Ethel Demorest, who had been privately engaged for three years. Every one knew that as soon as Jim managed to hold a job for more than two months she would marry him. Yet how bored they both looked, and how wearily Ethel regarded Jim sometimes, as if she wondered why she had trained the vines of her affection on such a wind-shaken poplar.

Warren was nineteen and rather pitying with those of his friends who hadn't gone East to college. But, like most boys, he bragged tremendously about the girls of his city when he was away from it. There was Genevieve Ormonde, who regularly made the rounds of dances, house-parties, and football games at Princeton, Yale, Williams, and Cornell; there was black-eyed Roberta Dillon, who was quite as famous to her own generation as Hiram Johnson or Ty Cobb; and, of course, there was Marjorie Harvey, who besides having a fairy-like face and a dazzling, bewildering tongue was already justly celebrated for having turned five cart-wheels in succession during the last pump-and-slipper dance at New Haven.

ким смехом. Уоррен кивал тем, кто мог еще замечать окружающее, и, когда он проходил мимо очередной парочки, в памяти его всплывали обрывки воспоминаний: городок был невелик, и каждый его житель знал назубок прошлое любого из своих земляков. Вот, к примеру, Джим Стрейн и Этель Деморест — уже три года они неофициально обручены. Всем известно, что, как только Джима продержат на какой-либо работе больше двух месяцев, они поженятся. Однако как унылы их лица и как устало поглядывает Этель на Джима, словно недоумевая, зачем лоза ее привязанности обвила столь чахлый тополь.

Уоррену шел двадцатый год, и он свысока взирал на тех своих приятелей, кому не довелось учиться на Востоке. Однако вдали от родного города — и в этом он не отличался от большинства юнцов — он гордился своими знаменитыми землячками. И было кем: Женеьева Ормонд, например, не пропускала ни одного бала, вечера и футбольного матча в Принстоне, Йеле, Вильямсе или Корнелле, черноглазая Роберта Диллон среди своих сверстников была известна не менее, чем Хайрам Джонсон или Тай Кобб, ну а Марджори Харви славилась не только своей обольстительной красотой и дерзким, блестящим остроумием, а еще и тем, что на последнем балу в Нью-Хейвене пять раз кряду прошлась колесом.

Warren, who had grown up across the street from Marjorie, had long been "crazy about her." Sometimes she seemed to reciprocate his feeling with a faint gratitude, but she had tried him by her infallible test and informed him gravely that she did not love him. Her test was that when she was away from him she forgot him and had affairs with other boys. Warren found this discouraging, especially as Marjorie had been making little trips all summer, and for the first two or three days after each arrival home he saw great heaps of mail on the Harveys' hall table addressed to her in various masculine handwritings. To make matters worse, all during the month of August she had been visited by her cousin Bernice from Eau Claire, and it seemed impossible to see her alone. It was always necessary to hunt round and find some one to take care of Bernice. As August waned this was becoming more and more difficult.

Much as Warren worshipped Marjorie he had to admit that Cousin Bernice was sort a dopeless. She was pretty, with dark hair and high color, but she was no fun on a party. Every Saturday night he danced a long arduous duty dance with her to please Marjorie, but he had never been anything but bored in her company.

"Warren"—a soft voice at his elbow broke in upon his thoughts, and he turned to see Marjorie, flushed and radiant as usual. She laid a hand on

Уоррен, который рос с Марджори на одной улице, давно сходил по ней с ума. Порой ему казалось, что она отвечает на его поклонение чем-то вроде благодарности, но она уже проверила свои чувства испытанным методом и торжественно объявила, что не любит его. Проверка заключалась в следующем: когда его не было рядом, Марджори о нем забывала и напропалую флиртowała с другими. Если учесть, что все лето Марджори проводила в разъездах и первые два-три дня по ее возвращении стол в холле был завален конвертами, надписанными всевозможными мужскими почерками, Уоррену было от чего впасть в уныние. Мало того, весь август у нее гостила кузина Вероника из О-Клэра, и увидеться с Марджори наедине было почти невозможно. Вечно приходилось подыскивать кого-то, кто согласится взять на себя Веронику. Август близился к концу, и задача эта с каждым днем становилась все трудней.

Как Уоррен ни боготворил Марджори, он вынужден был признать, что Вероника страшная преснятина. Она была миловидная брюнетка с ярким цветом лица, но уж скучная — дальше некуда. Каждую субботу Уоррен в угоду Марджори покорно танцевал с ней изнурительно долгий танец, и она неизменно наводила на него тоску.

— Уоррен, — вторгся в его мысли вкрадчивый голос. Он обернулся и увидел Марджори, покрасневшую и, как всегда, оживленную.

his shoulder and a glow settled almost imperceptibly over him.

"Warren," she whispered "do something for me — dance with Bernice. She's been stuck with little Otis Ormonde for almost an hour."

Warren's glow faded.

"Why — sure," he answered half-heartedly.

"You don't mind, do you? I'll see that you don't get stuck."

"Sall right."

Marjorie smiled — that smile that was thanks enough.

"You're an angel, and I'm obliged loads."

With a sigh the angel glanced round the veranda, but Bernice and Otis were not in sight. He wandered back inside, and there in front of the women's dressing-room he found Otis in the centre of a group of young men who were convulsed with laughter. Otis was brandishing a piece of timber he had picked up, and discoursing volubly.

"She's gone in to fix her hair," he announced wildly. "I'm waiting to dance another hour with her."

Their laughter was renewed.

"Why don't some of you cut in?" cried Otis resentfully. "She likes more variety."

Она положила руку ему на плечо, и незримый ореол воссиял над ним.

— Уоррен, — шепнула она, — пригласи Веронику, ну, ради меня. Она уже битый час танцует с Малышом Отисом.

Ореол померк.

— ...Ладно... Пожалуйста, — нехотя согласился он.

— Это ведь не слишком большая жертва с твоей стороны? А я позабочусь, чтобы тебе побыстрее пришли на выручку.

— Идет.

Марджори улыбнулась той улыбкой, что сама по себе служила наградой.

— Ты просто душка. Не знаю, как и благодарить тебя.

Душка со вздохом оглядел веранду: Отиса и Вероники тут не было. Он побрел обратно в залу и там, перед дамской комнатой, в группе корчившихся от смеха молодых людей увидел Отиса. Отис разглагольствовал, потрясая невесть откуда взявшимся обрезком доски.

— Она пошла поправить прическу, — говорил он отчаянно. — А как выйдет, мне опять час кряду танцевать с ней.

Смех усилился.

— И почему это никто нас не разбивает? — оскорбленно вопрошал Отис. — Ей наверняка хочется разнообразия.

“Why, Otis,” suggested a friend “you’ve just barely got used to her.”

“Why the two-by-four, Otis?” inquired Warren, smiling.

“The two-by-four? Oh, this? This is a club. When she comes out I’ll hit her on the head and knock her in again.”

Warren collapsed on a settee and howled with glee.

“Never mind, Otis,” he articulated finally. “I’m relieving you this time.”

Otis simulated a sudden fainting attack and handed the stick to Warren.

“If you need it, old man,” he said hoarsely.

No matter how beautiful or brilliant a girl may be, the reputation of not being frequently cut in on makes her position at a dance unfortunate. Perhaps boys prefer her company to that of the butterflies with whom they dance a dozen times an evening, but youth in this jazz-nourished generation is temperamentally restless, and the idea of foxtrotting more than one full foxtrot with the same girl is distasteful, not to say odious. When it comes to several dances and the intermissions between she can be quite sure that a young man, once relieved, will never tread on her wayward toes again.

— Что ты, Отис, — возразил приятель. — Ты ведь едва-едва привык к ней.

— Зачем тебе эта штуковина? — поинтересовался Уоррен.

— Что? А, ты про доску? Это дубинка. Пусть только она высунется оттуда, я — раз! — ее по голове — и затолкну назад.

Уоррен взвыл и рухнул на кушетку.

— Не горюй, Отис, — выговорил он наконец. — На сей раз я тебя выручу.

Отис изобразил легкий обморок и вручил доску Уоррену.

— Авось пригодится, старина, — сипло сказал он.

Как бы ни была девушка хороша собой и остроумна, если на танцах кавалеры не отбивают ее друг у друга на каждом шагу, ей не позавидуешь. Возможно, они куда охотнее проводят время с ней, чем с теми пустышками, которых приглашают по десять раз за вечер, но это вскормленное джазом поколение страшно непостоянно и протанцевать больше одного фокстрота с той же самой девушкой им неинтересно, чтобы не сказать нестерпимо. Если же танцевать приходится не один, а несколько танцев, девушка может не сомневаться, что, как только кавалера избавят от нее, он примет все меры, чтобы ему уже никогда не пришлось отдавливать ее неуклюжие ноги.

Warren danced the next full dance with Bernice, and finally, thankful for the intermission, he led her to a table on the veranda. There was a moment's silence while she did unimpressive things with her fan.

"It's hotter here than in Eau Claire," she said.

Warren stifled a sigh and nodded. It might be for all he knew or cared. He wondered idly whether she was a poor conversationalist because she got no attention or got no attention because she was a poor conversationalist.

"You going to be here much longer?" he asked and then turned rather red. She might suspect his reasons for asking.

"Another week," she answered, and stared at him as if to lunge at his next remark when it left his lips.

Warren fidgeted. Then with a sudden charitable impulse he decided to try part of his line on her. He turned and looked at her eyes.

"You've got an awfully kissable mouth," he began quietly.

This was a remark that he sometimes made to girls at college proms when they were talking in just such half dark as this. Bernice distinctly jumped. She turned an ungraceful red and became

Следующий танец Уоррен до конца протанцевал с Вероникой, после чего, радуясь наступившему перерыву, отвел ее на веранду. С минуты они помолчали, Вероника не слишком впечатляюще поигрывала веером.

— А у вас жарче, чем в О-Клэре, — сказала она.

Уоррен, подавив вздох, кивнул. Очень даже возможно, но ему-то что до этого. Он празднично размышлял, потому ли с Вероникой не о чем разговаривать, что за ней никто не ухаживает, или за ней никто не ухаживает, потому что с ней не о чем разговаривать.

— Вы долго пробудете у нас? — спросил он и покраснел. Что, если Вероника догадается, чем вызван его вопрос.

— Еще неделю, — ответила она, глядя ему в рот так, будто изготавилась ловить его слова на лету.

Уоррен заерзал. И, поддавшись неожиданно накатившему на него порыву сострадания, решил испробовать на Веронике свой излюбленный прием. Повернувшись, он заглянул ей в глаза.

— У вас жутко чувственный рот, — невозможно начал он.

На балах в своем колледже, особенно если беседа велась в такой вот полутьме, Уоррен порой подпускал девушкам подобные комплименты. Вероника буквально подскочила. Щеки ее поба-

clumsy with her fan. No one had ever made such a remark to her before.

“Fresh!”—the word had slipped out before she realized it, and she bit her lip. Too late she decided to be amused, and offered him a flustered smile.

Warren was annoyed. Though not accustomed to have that remark taken seriously, still it usually provoked a laugh or a paragraph of sentimental banter. And he hated to be called fresh, except in a joking way. His charitable impulse died and he switched the topic.

“Jim Strain and Ethel Demorest sitting out as usual,” he commented.

This was more in Bernice’s line, but a faint regret mingled with her relief as the subject changed. Men did not talk to her about kissable mouths, but she knew that they talked in some such way to other girls.

“Oh, yes,” she said, and laughed. “I hear they’ve been mooning around for years without a red penny. Isn’t it silly?”

Warren’s disgust increased. Jim Strain was a close friend of his brother’s, and anyway he considered it bad form to sneer at people for not having money. But Bernice had had no intention of sneering. She was merely nervous.

гровели, она чуть не выронила веер. Такого ей никто еще не говорил.

— Нахал! — выпалила она, но тут же спохватилась и прикусила язык. Теперь уже поздно делать вид, будто ей смешно, решила она, и ода-рила Уоррена смятенной улыбкой.

Уоррен обозлился. Хотя ему было не внове, что этот его заход не принимают всерьез, все же обычно ему отвечали смехом или прочувствованной болтовней. И потом, он мог лишь в шутку допустить, чтобы его называли нахалом. Благородный порыв его мигом угас, и он перестроился.

— Джим Стрейн и Этель Деморест, как всегда, не танцуют, — заметил он.

Разговор свернул в более привычное для Вероники русло, и все же, когда Уоррен переменил тему, она испытала не только облегчение, но и досаду. Ей никто еще не говорил, что у нее чувственный рот, но она знала, что другим де-вушкам что-то такое говорят.

— Да-да, — сказала она и прыснула. — Я слышала, что они бедны как церковные крысы и уже сто лет женихаются. Вот глупость-то, правда?

Вероника стала еще ненавистней Уоррену. Джим Стрейн дружил с его братом, к тому же он почитал дурным тоном насмехаться над бедностью. Однако у Вероники и в мыслях не было насмехаться. Она просто растерялась.

II

When Marjorie and Bernice reached home at half after midnight they said good night at the top of the stairs.

Though cousins, they were not intimates. As a matter of fact Marjorie had no female intimates — she considered girls stupid. Bernice on the contrary all through this parent-arranged visit had rather longed to exchange those confidences flavored with giggles and tears that she considered an indispensable factor in all feminine intercourse. But in this respect she found Marjorie rather cold; felt somehow the same difficulty in talking to her that she had in talking to men. Marjorie never giggled, was never frightened, seldom embarrassed, and in fact had very few of the qualities which Bernice considered appropriately and blessedly feminine.

As Bernice busied herself with tooth-brush and paste this night she wondered for the hundredth time why she never had any attention when she was away from home. That her family were the wealthiest in Eau Claire; that her mother entertained tremendously, gave little dinners for her daughter before all dances and bought her a car of her own to drive round in, never occurred to her as factors in her home-town social success. Like most girls she had been brought up on the warm

II

Марджори и Вероника вернулись домой в половине первого, пожелали друг другу спокойной ночи и разошлись по своим комнатам.

Между кухнями не было близости. К слову сказать, у Марджори вообще не было близких подруг: всех женщин она считала дурами. Вероника же, напротив, с самого начала этого визита, устроенного родителями обеих девиц, рвалась вести с кухней задушевные беседы; без таких бесед, перемежаемых слезами и хихиканьем, ей казалась невозможной женская дружба. Однако Марджори встречала ее порывы холодно, и разговаривать с ней Веронике было почему-то ничуть не легче, чем с мужчинами. Марджори никогда не хихикала, не пугалась, не попадала впросак и вообще не обладала ни одним из тех прекрасных качеств, которые, по мнению Вероники, так украшают женщину.

Чистя на ночь зубы, Вероника в который раз задумалась над тем, почему за ней перестают ухаживать, стоит ей уехать из дому. И хотя семья ее была самой богатой в О-Клэре, хотя ее мать устраивала прием за приемом, перед каждым балом давала для друзей дочери обеды, купила ей автомобиль, — Веронике и в голову не приходило, что все это, вместе взятое, немало способствует ее успеху в родном городе. Как и большинство девушек, она была взлелеяна на сладкой водичке

milk prepared by Annie Fellows Johnston and on novels in which the female was beloved because of certain mysterious womanly qualities always mentioned but never displayed.

Bernice felt a vague pain that she was not at present engaged in being popular. She did not know that had it not been for Marjorie's campaigning she would have danced the entire evening with one man; but she knew that even in Eau Claire other girls with less position and less pulchritude were given a much bigger rush. She attributed this to something subtly unscrupulous in those girls. It had never worried her, and if it had her mother would have assured her that the other girls cheapened themselves and that men really respected girls like Bernice.

She turned out the light in her bathroom, and on an impulse decided to go in and chat for a moment with her aunt Josephine, whose light was still on. Her soft slippers bore her noiselessly down the carpeted hall, but hearing voices inside she stopped near the partly opened door. Then she caught her own name, and without any definite intention of eavesdropping lingered — and the thread of the conversation going on inside pierced her consciousness sharply as if it had been drawn through with a needle.

"She's absolutely hopeless!" It was Marjorie's voice. "Oh, I know what you're going to say! So

изготовления Анни Феллоуз Джонстон и на романах, где героиню любили за некую загадочную женственность, о которой много говорилось, но которая никак себя не проявляла.

Веронику задевало, что за ней здесь никто не ухаживает. Она не знала, что, если б не хлопоты Марджори, ей бы так и пришлось танцевать весь вечер с одним кавалером; однако она знала, что и в О-Клэре за девушками, уступающими ей по положению в обществе и гораздо менее хорошенькими, увиваются куда сильнее. Она объясняла это тем, что они не слишком щепетильны. Их успех ничуть не нарушал покой Вероники, а случись вдруг такое, мать уверила бы ее, что эти девушки роняют себя и что по-настоящему мужчины уважают скромных девушек вроде Вероники.

Она выключила свет в ванной, и ее вдруг потянуло поболтать с тетей Жозефиной — у той в комнате еще горел свет. Легкие туфельки бесшумно пронесли Веронику по затянутому ковром коридору, но, услышав из-за полуприкрытой двери голоса, она остановилась. Она разобрала свое имя, вовсе не думая подслушивать, все же невольно помедлила — и тут смысл разговора дошел до нее, пронзив внезапной, как удар тока, болью.

— Она просто безнадежна! — говорила Марджори. — Знаю, что ты скажешь. Тебе со всех

many people have told you how pretty and sweet she is, and how she can cook! What of it? She has a bum time. Men don't like her."

"What's a little cheap popularity?"

Mrs. Harvey sounded annoyed.

"It's everything when you're eighteen," said Marjorie emphatically. "I've done my best. I've been polite and I've made men dance with her, but they just won't stand being bored. When I think of that gorgeous coloring wasted on such a ninny, and think what Martha Carey could do with it — oh!"

"There's no courtesy these days."

Mrs. Harvey's voice implied that modern situations were too much for her. When she was a girl all young ladies who belonged to nice families had glorious times.

"Well," said Marjorie, "no girl can permanently bolster up a lame-duck visitor, because these days it's every girl for herself. I've even tried to drop hints about clothes and things, and she's been furious — given me the funniest looks. She's sensitive enough to know she's not getting away with much, but I'll bet she consoles herself by thinking that she's very virtuous and that I'm too gay and fickle and will come to a bad end. All unpopular

концов твердят, какая она хорошенькая, какая славная и какая кулинарка. Ну и что толку? Очень ей весело? За ней же никто не ухаживает.

— А много ли толку в дешевом успехе?

Голос миссис Харви звучал раздраженно.

— Когда тебе восемнадцать — очень много, — пылко воскликнула Марджори. — Я из кожи вон лезла для нее. Я и улещала кавалеров, и упрашивала их танцевать с ней, но она наводит на них тоску, а этого не выносит никто. Когда я думаю, зачем этой дурехе такой роскошный цвет лица, и думаю, как бы им сумела распорядиться Марта Кэри... да что тут говорить!

— Нынче забыли, что такое подлинная галантность.

Своим тоном миссис Харви намекала, что отказывается понять современные нравы. В ее время все молодые девушки из хороших семей пользовались успехом.

— Ну так вот, — сказала Марджори, — а нынче никто не может себе позволить вечно нянчиться с гостьей-недотепой; теперь каждой девушке прежде всего надо думать о себе. Я пробовала дать ей кое-какие советы по части тряпок и тому подобного, но она только обозлилась и смотрела на меня как-то чудно. Она не такая толстокожая и понимает, что успехи у нее не ахти, но, ручаюсь, она тешит себя тем, что она

girls think that way. Sour grapes! Sarah Hopkins refers to Genevieve and Roberta and me as gardenia girls! I'll bet she'd give ten years of her life and her European education to be a gardenia girl and have three or four men in love with her and be cut in on every few feet at dances."

"It seems to me," interrupted Mrs. Harvey rather wearily, "that you ought to be able to do something for Bernice. I know she's not very vivacious."

Marjorie groaned.

"Vivacious! Good grief! I've never heard her say anything to a boy except that it's hot or the floor's crowded or that she's going to school in New York next year. Sometimes she asks them what kind of car they have and tells them the kind she has. Thrilling!"

There was a short silence and then Mrs. Harvey took up her refrain:

"All I know is that other girls not half so sweet and attractive get partners. Martha Carey, for instance, is stout and loud, and her mother is dis-

такая добродетельная, а я легкомысленная, ветреная и плохо кончу. Все девушки, за которыми никто не ухаживает, так думают. Зелен виноград! Сара Хопкинс называет Женевьеву, Роберту и меня коллекционерками. Ручаюсь, она пожертвовала бы десятью годами жизни и своим европейским образованием, чтобы стать такой вот коллекционеркой, чтобы за ней ходили хвостом три-четыре поклонника разом и чтобы на танцах ее отбивали на каждом шагу.

— И все-таки мне кажется, — устало прервала ее миссис Харви, — ты должна как-то помочь Веронике. Я не отрицаю, что ей недостает жизни.

Марджори испустила стон.

— Живости! Господи боже ты мой! Да ты знаешь, о чем она говорит с кавалерами — о том, как у нас жарко, как сегодня тесно в зале или о том, как на будущий год она поедет учиться в Нью-Йорк — и ни разу, ни разу я не слышала, чтобы она говорила о чем-нибудь другом. Хотя нет, иной раз она спрашивает, какой марки автомобиль у ее собеседника, и сообщает, какой автомобиль у нее. Увлечательно, нечего сказать.

Они помолчали, но вскоре миссис Харви снова принялась за свое:

— Я знаю одно: за другими девушками, и вполтину не такими славными и привлекательными, как Вероника, ухаживают. Марта

tinctly common. Roberta Dillon is so thin this year that she looks as though Arizona were the place for her. She's dancing herself to death."

"But, mother," objected Marjorie impatiently, "Martha is cheerful and awfully witty and an awfully slick girl, and Roberta's a marvellous dancer. She's been popular for ages!"

Mrs. Harvey yawned.

"I think it's that crazy Indian blood in Bernice," continued Marjorie. "Maybe she's a reversion to type. Indian women all just sat round and never said anything."

"Go to bed, you silly child," laughed Mrs. Harvey. "I wouldn't have told you that if I'd thought you were going to remember it. And I think most of your ideas are perfectly idiotic," she finished sleepily.

There was another silence, while Marjorie considered whether or not convincing her mother was worth the trouble. People over forty can seldom be permanently convinced of anything. At eighteen our convictions are hills from which we look; at forty-five they are caves in which we hide.

Having decided this, Marjorie said good night. When she came out into the hall it was quite empty.

Кэри, к примеру, и толстая и крикливая, а мать ее и вовсе пошлая особа. Роберта Диллон в этом году так усохла, будто явилась из Аризонской пустыни. Она себя вгонит в гроб танцами.

— Да мама же, — нетерпеливо прервала ее Марджори. — Марта веселая и бойкая, а уж как умеет себя подать! Роберта дивно танцует. За ней испокон века воздыхатели ходят толпами.

Миссис Харви зевнула.

— Я думаю, всему виной примесь этой индейской крови в Веронике, — продолжала Марджори. — А вдруг это атавизм? Индианки только и знали, что сидеть кружком и молчать.

— Отправляйся спать, дурочка, — засмеялась миссис Харви. — Зря я тебе рассказала про индейскую кровь, но я не думала, что тебе это так западет в голову. И вообще, твои рассуждения мне представляются довольно-таки глупыми, — сонно заключила она.

Они снова помолчали, Марджори обдумывала, стоит ли труда переубеждать мать. После сорока люди так трудно поддаются переубеждению. В восемнадцать наши убеждения подобны горам, с которых мы взираем на мир, в сорок пять — пещерам, в которых мы скрываемся от мира.

Придя к такому заключению, Марджори пожелала матери спокойной ночи и вышла. В коридоре никого не было.

III

While Marjorie was breakfasting late next day Bernice came into the room with a rather formal good morning, sat down opposite, stared intently over and slightly moistened her lips.

“What’s on your mind?” inquired Marjorie, rather puzzled.

Bernice paused before she threw her hand-grenade.

“I heard what you said about me to your mother last night.”

Marjorie was startled, but she showed only a faintly heightened color and her voice was quite even when she spoke.

“Where were you?”

“In the hall. I didn’t mean to listen — at first.”

After an involuntary look of contempt Marjorie dropped her eyes and became very interested in balancing a stray corn-flake on her finger.”

“I guess I’d better go back to Eau Claire — if I’m such a nuisance.” Bernice’s lower lip was trembling violently and she continued on a wavering note: “I’ve tried to be nice, and — and I’ve been first neglected and then insulted. No one ever visited me and got such treatment.”

III

На следующее утро, когда Марджори довольно поздно села завтракать, в столовую вошла Вероника, сухо поздоровалась, села напротив, вперилась в Марджори и кончиком языка облизнула губы.

— Ты что это? — озадаченно спросила Марджори.

Вероника несколько выждала, потом метнула свою гранату.

— Я слышала, что ты вчера говорила тете обо мне.

Марджори опешила, но замешательство свое выдала лишь еле заметным румянцем, голос же ее звучал вполне ровно.

— Где ты была?

— В коридоре. Вначале я не собиралась подслушивать.

Смерив Веронику презрительным взглядом, Марджори опустила глаза, принялась раскачивать кусок крекера на кончике пальца и, казалось, целиком ушла в это занятие.

— Раз я тебе в тягость, мне, пожалуй, лучше вернуться в О-Клэр. — У Вероники запрыгала нижняя губа, она продолжала срывающимся голосом: — Я старалась всем угодить, но сначала мною пренебрегали, а потом оскорбили. Я себе никогда не позволяла так принимать гостей.

Marjorie was silent.

"But I'm in the way, I see. I'm a drag on you. Your friends don't like me." She paused, and then remembered another one of her grievances. "Of course I was furious last week when you tried to hint to me that that dress was unbecoming. Don't you think I know how to dress myself?"

"No," murmured less than half-aloud.

"What?"

"I didn't hint anything," said Marjorie succinctly. "I said, as I remember, that it was better to wear a becoming dress three times straight than to alternate it with two frights."

"Do you think that was a very nice thing to say?"

"I wasn't trying to be nice." Then after a pause: "When do you want to go?"

Bernice drew in her breath sharply.

"Oh!" It was a little half-cry.

Marjorie looked up in surprise.

"Didn't you say you were going?"

"Yes, but——"

"Oh, you were only bluffing!"

They stared at each other across the breakfast-table for a moment. Misty waves were passing before Bernice's eyes, while Marjorie's face wore

Марджори молчала.

— Я тебе мешаю, понятно. Я для тебя обуза. Твоим друзьям я не нравлюсь. — Вероника замолчала, но тут же припомнила еще одну из своих обид. — Разумеется, я обозлилась, когда на прошлой неделе ты пыталась намекнуть, что платье мне не к лицу. Ты что же, думаешь, я не умею одеваться?

— Да, — буркнула Марджори чуть слышно.

— Что?

— И ни на что я не намекала, — сказала Марджори напрямик. — Насколько помню, я сказала, что лучше три раза подряд надеть красивое платье, чем чередовать его с двумя страшилищами.

— Ну и как, по-твоему, приятно такое слышать?

— А я вовсе не старалась быть приятной. — И, чуть помолчав, добавила: — Когда ты хочешь уехать?

У Вероники перехватило дыхание.

— Ой, — еле слышно вырвалось у нее.

Марджори изумленно подняла глаза.

— Ты же сказала, что уезжаешь.

— Да, но...

— Значит, ты брала меня на пушку!

Они уставились друг на друга через стол. Туманная пелена застилала глаза Вероники, Марджори жестко глядела на нее — таким взглядом

that rather hard expression that she used when slightly intoxicated undergraduates were making love to her.

“So you were bluffing,” she repeated as if it were what she might have expected.

Bernice admitted it by bursting into tears. Marjorie’s eyes showed boredom.

“You’re my cousin,” sobbed Bernice. “I’m v-v-visiting you. I was to stay a month, and if I go home my mother will know and she’ll wah-wonder——”

Marjorie waited until the shower of broken words collapsed into little sniffles.

“I’ll give you my month’s allowance,” she said coldly, “and you can spend this last week anywhere you want. There’s a very nice hotel——”

Bernice’s sobs rose to a flute note, and rising of a sudden she fled from the room.

An hour later, while Marjorie was in the library absorbed in composing one of those non-committal marvelously elusive letters that only a young girl can write, Bernice reappeared, very red-eyed, and consciously calm. She cast no glance at Marjorie but took a book at random from the shelf and sat down as if to read. Marjorie seemed absorbed in her letter and continued writing. When the clock showed noon Bernice closed her book with a snap.

она обычно укрощала подвыпивших студентов, когда те давали волю рукам.

— Значит, ты брала меня на пушку, — повторила Марджори так, будто ничего другого и не ожидала.

Вероника разразилась слезами, подтвердив тем самым свою вину. Глаза Марджори поскуцнели.

— Ты мне сестра, — всхлипывала Вероника. — Я у тебя гощу-у-у. Я у тебя должна пробыть месяц, а если я уеду сейчас домой, мама удивится и спросит...

Марджори выждала, пока поток бессвязных слов не сменился чуть слышным хлюпаньем.

— Я отдам тебе мои карманные деньги за месяц, — сказала она холодно, — и ты сможешь провести эту неделю, где тебе заблагорассудится. Тут поблизости есть вполне приличный отель...

Вероника захлебнулась слезами и выскочила из комнаты.

Через час, когда Марджори увлеченно сочиняла одно из тех ни к чему не обязывающих, восхитительно уклончивых писем, которые умеют писать только девушки, в библиотеку вошла Вероника — глаза у нее покраснели, но держалась она нарочито спокойно. Не глядя на Марджори, она взяла с полки первую попавшуюся книгу и сделала вид, что читает. Марджори, казалось всецело поглощенная своим делом, про-

“I suppose I’d better get my railroad ticket.”

This was not the beginning of the speech she had rehearsed upstairs, but as Marjorie was not getting her cues — wasn’t urging her to be reasonable; it’s a mistake — it was the best opening she could muster.

“Just wait till I finish this letter,” said Marjorie without looking round. “I want to get it off in the next mail.”

After another minute, during which her pen scratched busily, she turned round and relaxed with an air of “at your service.” Again Bernice had to speak.

“Do you want me to go home?”

“Well,” said Marjorie, considering, “I suppose if you’re not having a good time you’d better go. No use being miserable.”

“Don’t you think common kindness——”

“Oh, please don’t quote ‘Little Women!’” cried Marjorie impatiently. “That’s out of style.”

“You think so?”

“Heavens, yes! What modern girl could live like those inane females?”

“They were the models for our mothers.”

Marjorie laughed.

должала писать. Когда часы пробили полдень, Вероника с треском захлопнула книгу.

— Пожалуй, мне стоит купить билет на поезд.

Совсем иначе думала она начать эту речь, когда репетировала ее у себя в комнате, но, так как Марджори не придерживалась отведенной роли — не умоляла ее образумиться, не просила забыть это недоразумение, — ничего лучшего Вероника не нашла.

— Подожди, я кончу письмо, — сказала Марджори, не оборачиваясь. — Я хочу отправить его со следующей почтой.

Еще минуту она деловито скрипела пером, потом обернулась к Веронике, как бы говоря всем своим видом: «Я к вашим услугам». И снова пришлось начинать Веронике.

— Ты хочешь, чтобы я уехала?

— Видишь ли, — прикинула Марджори, — раз тебе тут плохо, по-моему, прямой смысл уехать. Что толку чувствовать себя несчастной.

— А ты не считаешь, что простая доброта...

— Ради бога, не цитируй ты «Маленьких женщин»! — нетерпеливо прервала ее Марджори. — Они давно устарели.

— Ты так думаешь?

— Еще бы! Какая современная девушка станет жить как эти пустышки?

— Они служили примером нашим матерям.

Марджори расхохоталась.

“Yes, they were — not! Besides, our mothers were all very well in their way, but they know very little about their daughters’ problems.”

Bernice drew herself up.

“Please don’t talk about my mother.”

Marjorie laughed.

“I don’t think I mentioned her.”

Bernice felt that she was being led away from her subject.

“Do you think you’ve treated me very well?”

“I’ve done my best. You’re rather hard material to work with.”

The lids of Bernice’s eyes reddened.

“I think you’re hard and selfish, and you haven’t a feminine quality in you.”

“Oh, my Lord!” cried Marjorie in desperation “You little nut! Girls like you are responsible for all the tiresome colorless marriages; all those ghastly inefficiencies that pass as feminine qualities. What a blow it must be when a man with imagination marries the beautiful bundle of clothes that he’s been building ideals round, and finds that she’s just a weak, whining, cowardly mass of affectations!”

Bernice’s mouth had slipped half open.

“The womanly woman!” continued Marjorie. “Her whole early life is occupied in whining criti-

— Как бы не так! И потом, наши матери были вполне хороши на свой лад, но что они могут понять в жизни своих дочерей?

Вероника взвилась.

— Я прошу тебя не говорить так о моей матери.

Марджори снова расхохоталась.

— А я, помнится, не говорила о ней.

Вероника почувствовала, что ее отвлекают.

— Значит, ты считаешь, что вела себя по отношению ко мне хорошо?

— Я сделала для тебя все, что могла, и более того. Ты довольно тяжкий случай.

У Вероники набрякли веки.

— А ты себялюбивая, злая и вдобавок совершенно не женственная.

— Господи боже мой! — возопила Марджори. — Да ты просто дуреха! Такие девицы, как ты, прежде всего виноваты в бесчисленных нудных, тусклых браках, в том, что чудовищная бестолковость сходит за женственность. Представляю, каково приходится человеку, когда, пленившись разодетой куклой, которую он наделил всевозможными добродетелями, он вдруг замечает, что взял в жены жалкую, нудную, трусливую жеманницу.

Вероника даже рот раскрыла от изумления.

— Вечно женственная женщина! — продолжала Марджори. — Лучшие ее годы уходят на

cisms of girls like me who really do have a good time.”

Bernice’s jaw descended farther as Marjorie’s voice rose.

“There’s some excuse for an ugly girl whining. If I’d been irretrievably ugly I’d never have forgiven my parents for bringing me into the world. But you’re starting life without any handicap—” Marjorie’s little fist clinched, “If you expect me to weep with you you’ll be disappointed. Go or stay, just as you like.” And picking up her letters she left the room.

Bernice claimed a headache and failed to appear at luncheon. They had a matinee date for the afternoon, but the headache persisting, Marjorie made explanation to a not very downcast boy. But when she returned late in the afternoon she found Bernice with a strangely set face waiting for her in her bedroom.

“I’ve decided,” began Bernice without preliminaries, “that maybe you’re right about things — possibly not. But if you’ll tell me why your friends aren’t — aren’t interested in me I’ll see if I can do what you want me to.”

Marjorie was at the mirror shaking down her hair.

то, чтобы поносить девушек вроде меня, которые не тратят времени попусту.

Чем больше воодушевлялась Марджори, тем сильнее отвисала челюсть у Вероники.

— Можно еще понять, когда на жизнь плачешь дурнушка. Будь я непоправимо дурна собой, я бы никогда не простила родителям, что они произвели меня на свет. Но тебе-то жаловаться не на что. — Марджори пристукнула кулачком. — Если ты рассчитываешь, что я буду хныкать вместе с тобой, ты ошибаешься. Хочешь — уезжай, хочешь — оставайся, дело твое. — Она собрала письма и вышла из комнаты.

Вероника не спустилась к обеду, сославшись на головную боль. После обеда за ними должны были заехать молодые люди — повезти их на утренник, но головная боль не прошла, и Марджори пришлось принести извинения не слишком опечаленному кавалеру. Вернувшись под вечер домой, Марджори застала у себя в спальне Веронику — на лице ее была написана непривычная решимость.

— Я подумала, — приступила Вероника прямо к делу, — что ты, может быть, и права, а может быть, и нет. И если ты объяснишь мне, почему твоим друзьям... словом, скучно со мной, я попробую делать все, что ты скажешь.

Марджори распускала волосы перед зеркалом.

“Do you mean it?”

“Yes.”

“Without reservations? Will you do exactly what I say?”

“Well, I——”

“Well nothing! Will you do exactly as I say?”

“If they’re sensible things.”

“They’re not! You’re no case for sensible things.”

“Are you going to make — to recommend——”

“Yes, everything. If I tell you to take boxing-lessons you’ll have to do it. Write home and tell your mother you’re going to stay another two weeks.

“If you’ll tell me——”

“All right — I’ll just give you a few examples now. First you have no ease of manner. Why? Because you’re never sure about your personal appearance. When a girl feels that she’s perfectly groomed and dressed she can forget that part of her. That’s charm. The more parts of yourself you can afford to forget the more charm you have.”

“Don’t I look all right?”

“No; for instance you never take care of your eyebrows. They’re black and lustrous, but by leaving them straggly they’re a blemish. They’d be beautiful if you’d take care of them in one-tenth

— Ты это серьезно?

— Да.

— И без оговорок? Будешь делать все, что я скажу?

— Ну...

— Ничего не ну! Будешь делать все, что я скажу?

— В пределах разумного.

— Ни в каких не в пределах. В твоём случае ничто разумное не поможет.

— И ты хочешь заставить... посоветовать мне...

— Вот именно. Если я велю тебе брать уроки бокса — будешь брать. Напиши матери, что останешься у нас еще на две недели.

— Если ты мне объяснишь...

— Хорошо, вот тебе несколько примеров. Во-первых, ты держишься слишком скованно. Почему? Да потому, что ты никогда не бываешь довольна своей внешностью. Когда знаешь, что хорошо выглядишь и хорошо одета, об этом можно не думать. А ведь в этом секрет обаяния. Чем свободнее ты себя чувствуешь, тем сильнее твоё обаяние.

— Разве тебе не нравится, как я выгляжу?

— Нет. К примеру, ты никогда не приводишь в порядок брови. Они у тебя и черные, и бледные, но ты их не приглаживаешь — и они тебя портят. А между тем они могли б тебя красить,

the time you take doing nothing. You're going to brush them so that they'll grow straight."

Bernice raised the brows in question.

"Do you mean to say that men notice eyebrows?"

"Yes — subconsciously. And when you go home you ought to have your teeth straightened a little. It's almost imperceptible, still——"

"But I thought," interrupted Bernice in bewilderment, "that you despised little dainty feminine things like that."

"I hate dainty minds," answered Marjorie. "But a girl has to be dainty in person. If she looks like a million dollars she can talk about Russia, ping-pong, or the League of Nations and get away with it."

"What else?"

"Oh, I'm just beginning! There's your dancing."

"Don't I dance all right?"

"No, you don't — you lean on a man; yes, you do — ever so slightly. I noticed it when we were dancing together yesterday. And you dance standing up straight instead of bending over a little. Probably some old lady on the side-line once told you that you looked so dignified that way. But except with a very small girl it's much harder on the man, and he's the one that counts."

если б ты потратила на них хоть малую толику того времени, что тратишь на ерунду. Приглаживай их так, чтобы они лежали ровно.

Вероника подняла свои раскритикованные брови.

— А разве мужчины обращают внимание на брови?

— Да, сами того не сознавая. Когда вернешься домой, займись зубами. Они у тебя чуть неровные, это почти незаметно, и все же...

— Мне казалось, — опешила Вероника, — что ты презираешь такие мелкие женские ухищрения.

— Я презираю мелкие умишки, — сказала Марджори. — Но во всем, что касается внешности, мелочей не бывает. Если девушка хороша собой, она может болтать о чем угодно: о России, пинг-понге, Лиге Наций — ей все сойдет с рук.

— Что еще?

— Я только начала! Теперь поговорим о танцах.

— А разве я плохо танцую?

— Вот именно, что плохо, — ты виснешь на кавалере, да-да, чуть-чуть, но виснешь. Я подметила это вчера. И еще ты держишься, словно палку проглотила, а надо слегка изогнуться. Возможно, какая-то старуха из тех, что вечно сидят на балах по стенам, сказала, что у тебя горделивая осанка. Но так танцевать позволено только при очень маленьком росте, во

“Go on.” Bernice’s brain was reeling.

“Well, you’ve got to learn to be nice to men who are sad birds. You look as if you’d been insulted whenever you’re thrown with any except the most popular boys. Why, Bernice, I’m cut in on every few feet — and who does most of it? Why, those very sad birds. No girl can afford to neglect them. They’re the big part of any crowd. Young boys too shy to talk are the very best conversational practice. Clumsy boys are the best dancing practice. If you can follow them and yet look graceful you can follow a baby tank across a barb-wire sky-scraper.”

Bernice sighed profoundly, but Marjorie was not through.

“If you go to a dance and really amuse, say, three sad birds that dance with you; if you talk so well to them that they forget they’re stuck with you, you’ve done something. They’ll come back next time, and gradually so many sad birds will dance with you that the attractive boys will see there’s no danger of being stuck — then they’ll dance with you.”

всех остальных случаях это неудобно партнеру, а считаться приходится прежде всего с ним.

— Продолжай. — У Вероники голова шла кругом.

— Так вот, научись привечать и незавидных кавалеров. Ты же встречаешь в штыки всех молодых людей, кроме тех, что нарасхват. Да меня на танцах перехватывают на каждом шагу — и хочешь знать кто? В большинстве случаев эти самые незавидные кавалеры. Ими нельзя пренебрегать. В любой компании их большинство. Чтобы научиться поддерживать разговор, нет ничего лучше юнцов, которые от робости теряют дар речи. Чтобы научиться танцевать, нет ничего лучше неуклюжих партнеров. Если ты научишься слушаться их, да еще не без изящества, тебе будет нипочем перепорхнуть с танком через проволочную изгородь до неба вышиной.

Вероника тяжело вздохнула, но Марджори еще не кончила лекцию.

— Если ты сумеешь на танцах развлечь, скажем, трех партнеров из числа незавидных, если ты сумеешь занять их беседой, заставить забыть, что вас никто не разбивает, это уже достижение. Они пригласят тебя еще раз, и со временем у тебя не будет от них отбоя, а за ними — убедившись, что им не грозит часами танцевать с тобой, — потянутся кавалеры поприлекательнее.

“Yes,” agreed Bernice faintly. “I think I begin to see.”

“And finally,” concluded Marjorie, “poise and charm will just come. You’ll wake up some morning knowing you’ve attained it and men will know it too.”

Bernice rose.

“It’s been awfully kind of you — but nobody’s ever talked to me like this before, and I feel sort of startled.”

Marjorie made no answer but gazed pensively at her own image in the mirror.

“You’re a peach to help me,” continued Bernice.

Still Marjorie did not answer, and Bernice thought she had seemed too grateful.

“I know you don’t like sentiment,” she said timidly.

Marjorie turned to her quickly.

“Oh, I wasn’t thinking about that. I was considering whether we hadn’t better bob your hair.”

Bernice collapsed backward upon the bed.

IV

On the following Wednesday evening there was a dinner-dance at the country club. When the guests strolled in Bernice found her place-card

— Да, — слабым голосом сказала Вероника, — кажется, кое-что начинает проясняться.

— А в конце концов и умение держать себя, и обаяние придут сами собой. В одно прекрасное утро ты проснешься и поймешь: вот оно, пришло, и мужчины тоже поймут это.

Вероника встала.

— Спасибо тебе, только никто еще так не говорил со мной, и я просто никак не приду в себя.

Марджори не отозвалась; она вдумчиво разглядывала свое отражение в зеркале.

— Очень мило с твоей стороны, что ты приняла во мне такое участие, — продолжала Вероника.

Марджори снова не отозвалась, и Вероника подумала: уж нехватила ли она через край со своей благодарностью.

— Я знаю, ты не выносишь сантиментов, — сказала она робко.

Марджори стремительно обернулась.

— Я не об этом думала. Я прикидывала, не стоит ли тебе обрезать волосы.

Вероника навзничь рухнула на кровать.

IV

В среду на следующей неделе в загородном клубе намечался обед, а после него — танцы. Когда гостей пригласили к столу, Вероника,

with a slight feeling of irritation. Though at her right sat G. Reece Stoddard, a most desirable and distinguished young bachelor, the all-important left held only Charley Paulson. Charley lacked height, beauty, and social shrewdness, and in her new enlightenment Bernice decided that his only qualification to be her partner was that he had never been stuck with her. But this feeling of irritation left with the last of the soup-plates, and Marjorie's specific instruction came to her. Swallowing her pride she turned to Charley Paulson and plunged.

"Do you think I ought to bob my hair, Mr. Charley Paulson?"

Charley looked up in surprise.

"Why?"

"Because I'm considering it. It's such a sure and easy way of attracting attention."

Charley smiled pleasantly. He could not know this had been rehearsed. He replied that he didn't know much about bobbed hair. But Bernice was there to tell him.

"I want to be a society vampire, you see," she announced coolly, and went on to inform him that bobbed hair was the necessary prelude. She added that she wanted to ask his advice, because she had heard he was so critical about girls.

отыскав свою карточку, ощутила некоторую досаду. Хотя справа от нее посадили Д. Рису Стоддарда, самого завидного и интересного из здешних кавалеров, с левой, что было важнее, сидел всего лишь Чарли Полсон. Чарли сильно недовоествовало роста, привлекательности и бойкости, но в свете своей новой умудренности Вероника сочла, что он обладает одним неоспоримым преимуществом — ему еще ни разу не доводилось часами танцевать с ней. А едва унесли последние суповые тарелки, раздражение улеглось и на помощь пришли наставления Марджори. Спрятав гордость в карман, она набралась храбрости и повернулась к Чарли Полсону.

— Как по-вашему, мистер Чарли Полсон, не обрезать ли мне волосы?

Чарли оторопело поглядел на нее.

— Почему вы спрашиваете?

— Я как раз подумываю об этом. Нет проще и вернее способа обратить на себя внимание.

Чарли вежливо улыбнулся. Ему было невдомек, что ее реплики заранее отрепетированы. Он ответил, что не слишком-то разбирается в прическах. Вероника тут же просветила его.

— Видите ли, я хочу стать роковой женщиной, — невозмутимо заявила она, а далее сообщила, что короткая стрижка — первый, но необходимый шаг на пути к этой цели. И добавила, что обратилась к нему за советом, потому что много наслышана о его строгом вкусе.

Charley, who knew as much about the psychology of women as he did of the mental states of Buddhist contemplatives, felt vaguely flattered.

“So I’ve decided,” she continued, her voice rising slightly, “that early next week I’m going down to the Sevier Hotel barber-shop, sit in the first chair, and get my hair bobbed.” She faltered noticing that the people near her had paused in their conversation and were listening; but after a confused second Marjorie’s coaching told, and she finished her paragraph to the vicinity at large. “Of course I’m charging admission, but if you’ll all come down and encourage me I’ll issue passes for the inside seats.”

There was a ripple of appreciative laughter, and under cover of it G. Reece Stoddard leaned over quickly and said close to her ear: “I’ll take a box right now.”

She met his eyes and smiled as if he had said something surprisingly brilliant.

“Do you believe in bobbed hair?” asked G. Reece in the same undertone.

“I think it’s unmoral,” affirmed Bernice gravely. “But, of course, you’ve either got to amuse people or feed ’em or shock ’em.”

Marjorie had culled this from Oscar Wilde. It was greeted with a ripple of laughter from the

Чарли, понимавшему в женской психологии не больше, чем в буддизме, ее слова показались лестными.

— Так вот, я решила, — продолжала Вероника уже чуть громче, — на той неделе прежде всего иду в парикмахерскую отеля «Севье», сажусь в первое кресло и велю меня остричь покороче. — Она осеклась, заметив, что соседи прервали разговоры и прислушиваются, но, вспомнив уроки Марджори, поборола смущение и завершила свою речь уже для сведения всех окружающих: — Плата за вход, разумеется, обязательна, но тем, кто придет поддержать меня, я выдам контрамарки.

Послышался одобрительный смех, и под шумок Д. Рис Стоддарт проворно склонился к Веронике и сказал ей на ухо: «Записываюсь на ложу».

Вероника перехватила его взгляд и просила, будто он сказал нечто сногсшибательно остроумное.

— Вы так верите в короткую стрижку? — спросил Д. Рис, по-прежнему вполголоса.

— Я думаю, что она подрывает устои, — серьезно подтвердила Вероника. — Но ничего не поделаешь: приходится либо забавлять людей, либо кормить их, либо шокировать.

Марджори позаимствовала это изречение у Оскара Уайльда. Мужчины засмеялись, де-

men and a series of quick, intent looks from the girls. And then as though she had said nothing of wit or moment Bernice turned again to Charley and spoke confidentially in his ear.

“I want to ask you your opinion of several people. I imagine you’re a wonderful judge of character.”

Charley thrilled faintly — paid her a subtle compliment by overturning her water.

Two hours later, while Warren McIntyre was standing passively in the stag line abstractedly watching the dancers and wondering whither and with whom Marjorie had disappeared, an unrelated perception began to creep slowly upon him — a perception that Bernice, cousin to Marjorie, had been cut in on several times in the past five minutes. He closed his eyes, opened them and looked again. Several minutes back she had been dancing with a visiting boy, a matter easily accounted for; a visiting boy would know no better. But now she was dancing with some one else, and there was Charley Paulson headed for her with enthusiastic determination in his eye. Funny — Charley seldom danced with more than three girls an evening.

Warren was distinctly surprised when — the exchange having been effected — the man relieved proved to be none other than G. Reece Stoddard himself. And G. Reece seemed not at all jubilant

вицы смирили ее быстрыми настороженными взглядами. Но Вероника тут же — будто и не говорила ничего остроумного и примечательного — повернулась к Чарли и доверительно зашептала ему на ухо:

— Мне очень интересно узнать, что вы кое о ком думаете. Мне кажется, вы прекрасно разбираетесь в людях.

Чарли затрепетал и отплатил ей тонким комплиментом, опрокинув ее бокал с водой.

Двумя часами позже у Уоррена Макинтайра, празднo стоявшего в толпе кавалеров и гадавшего, куда и с кем скрылась Марджори, постепенно сложилось впечатление, не имеющее никакого отношения к предмету его мыслей, — он заметил, что Веронику, кузину Марджори, за последние пять минут не раз отбивали. Он зажмурил глаза и снова их открыл. Только что Вероника танцевала с каким-то приезжим, но это объяснялось легко: приезжий не успел разобраться в обстановке. А сейчас она танцует с другим партнером, и к ней решительно устремляется Чарли Полсон. Вот чудеса! Чарли редко удавалось сменить за вечер больше трех дам.

Однако Уоррен просто не поверил своим глазам, когда Чарли наконец отбил Веронику и освобожденным партнером оказался не кто иной, как Д. Рис Стоддард. И Д. Рис, по всей видимо-

at being relieved. Next time Bernice danced near, Warren regarded her intently. Yes, she was pretty, distinctly pretty; and to-night her face seemed really vivacious. She had that look that no woman, however histrionically proficient, can successfully counterfeit — she looked as if she were having a good time. He liked the way she had her hair arranged, wondered if it was brilliantine that made it glisten so. And that dress was becoming — a dark red that set off her shadowy eyes and high coloring. He remembered that he had thought her pretty when she first came to town, before he had realized that she was dull. Too bad she was dull — dull girls unbearable — certainly pretty though.

His thoughts zigzagged back to Marjorie. This disappearance would be like other disappearances. When she reappeared he would demand where she had been — would be told emphatically that it was none of his business. What a pity she was so sure of him! She basked in the knowledge that no other girl in town interested him; she defied him to fall in love with Genevieve or Roberta.

Warren sighed. The way to Marjorie's affections was a labyrinth indeed. He looked up. Bernice was again dancing with the visiting boy. Half

сти, ничуть не радовался освобождению. В следующий раз, когда Вероника оказалась поблизости, Уоррен пригляделся к ней. Да, она недурна собой, безусловно недурна, а сегодня лицо ее казалось к тому же и оживленным. У нее был такой вид, какой ни одной женщине, пусть даже самой искусной актрисе, ни за что не подделать, — Вероника явно веселилась вовсю. Уоррену понравилась ее прическа — не от бриллиантина ли так блестят ее волосы? И платье ей шло, его винно-красный цвет выгодно подчеркивал ее глаза в густых ресницах и жаркий румянец. Он вспомнил, что сначала, до того как он раскусил, какая она зануда, Вероника казалась ему хорошенькой. Жалко, что она такая зануда, нет ничего несноснее зануд, но хорошенькая — это уж точно.

Мысли его кружным путем вернулись к Марджори. Она опять исчезла — не в первый раз и не в последний. Когда она вернется, он — опять-таки не в первый и не в последний раз — спросит, где она была и в ответ услышит категоричное: «Тебя это уж никак не касается». Хуже всего, что она так в нем уверена! Она упивается тем, что для него не существует никого, кроме нее; она знает, что ему не влюбиться ни в Роберту, ни в Женевьеву.

Уоррен вздохнул. Путь к сердцу Марджори был поистине извилистее лабиринта. Он поглядел на танцующих. Веронику снова кружил

unconsciously he took a step out from the stag line in her direction, and hesitated. Then he said to himself that it was charity. He walked toward her — collided suddenly with G. Reece Stoddard.

“Pardon me,” said Warren.

But G. Reece had not stopped to apologize. He had again cut in on Bernice.

That night at one o'clock Marjorie, with one hand on the electric-light switch in the hall, turned to take a last look at Bernice's sparkling eyes.

“So it worked?”

“Oh, Marjorie, yes!” cried Bernice.

“I saw you were having a gay time.”

“I did! The only trouble was that about midnight I ran short of talk. I had to repeat myself — with different men of course. I hope they won't compare notes.”

“Men don't,” said Marjorie, yawning, “and it wouldn't matter if they did — they'd think you were even trickier.”

She snapped out the light, and as they started up the stairs Bernice grasped the banister thankfully. For the first time in her life she had been danced tired.

“You see,” said Marjorie at the top of the stairs, “one man sees another man cut in and he thinks

приезжий юнец. Почти бессознательно Уоррен отделился от толпы кавалеров, шагнул было к Веронике, но заколебался. Уверил себя, что им движет сострадание. Направился к Веронике — и столкнулся с Д. Рисом Стоддардом.

— Прошу прощения, — сказал Уоррен.

Но Д. Рис не стал терять время на извинения. Он снова отбил Веронику.

В час ночи, в холле, Марджори, уже держа руку на выключателе, обернулась в последний раз посмотреть на сияющую Веронику.

— Значит, помогло?

— Да, Марджори, да! — воскликнула Вероника.

— Я видела, ты веселилась вовсю.

— Еще бы! Беда только, что к полуночи я истощила все свои разговорные запасы. И пришлось повторять одно и то же — правда, разным партнерам. Надо надеяться, они не будут обмениваться впечатлениями.

— У мужчин нет такой привычки, — сказала Марджори, зевая. — Но на худой конец они б просто решили, что ты проказница, каких мало.

Она выключила свет. Ступив на лестницу, Вероника с облегчением ухватилась за перила. Впервые в жизни она натанцевалась до упаду.

— Понимаешь, — сказала Марджори уже на площадке, — стоит одному мужчине увидеть,

there must be something there. Well, we'll fix up some new stuff tomorrow. Good night."

"Good night."

As Bernice took down her hair she passed the evening before her in review. She had followed instructions exactly. Even when Charley Paulson cut in for the eighth time she had simulated delight and had apparently been both interested and flattered. She had not talked about the weather or Eau Claire or automobiles or her school, but had confined her conversation to me, you, and us.

But a few minutes before she fell asleep a rebellious thought was churning drowsily in her brain — after all, it was she who had done it. Marjorie, to be sure, had given her her conversation, but then Marjorie got much of her conversation out of things she read. Bernice had bought the red dress, though she had never valued it highly before Marjorie dug it out of her trunk — and her own voice had said the words, her own lips had smiled, her own feet had danced. Marjorie nice girl — vain, though — nice evening — nice boys — like Warren — Warren — Warren — what's his name — Warren——

She fell asleep.

что тебя отбивает другой, как он думает: в ней наверняка что-то есть. Ладно, на завтра изобретем что-нибудь новенькое. Спокойной ночи.

— Спокойной ночи.

Распуская волосы, Вероника перебрала в памяти прошедший вечер. Она в точности выполнила все наставления Марджори. Даже когда к ней в восьмой раз подлетел Чарли Полсон, она изобразила живейший восторг и сумела показать ему, как лестно ей его внимание. Она не говорила с ним ни о погоде, ни об О-Клэре, ни об автомобилях, ни о своей школе, а строго придерживалась одной темы — вы, я, мы с вами.

И тут Веронику осенила бунтарская мысль, мысль эта дремотно крутилась в ее голове до тех пор, пока ее не одолел сон: ведь, в конце концов, успехом-то она обязана прежде всего себе. Не приходится отрицать, Марджори придумала, что ей говорить, но ведь и Марджори многое из того, что говорила, почерпнула в книгах. И красное платье выбрала она сама, хоть и не очень высоко его ценила, пока Марджори не извлекла его из сундука, она сама произносила те слова, она сама улыбалась, сама танцевала. Марджори славная... но уж очень суетная... какой славный вечер... и все такие славные... особенно Уоррен... Уоррен... Уоррен... Как его там... Уоррен...

И она уснула.

V

To Bernice the next week was a revelation. With the feeling that people really enjoyed looking at her and listening to her came the foundation of self-confidence.

Of course there were numerous mistakes at first. She did not know, for instance, that Draycott Deyo was studying for the ministry; she was unaware that he had cut in on her because he thought she was a quiet, reserved girl. Had she known these things she would not have treated him to the line which began "Hello, Shell Shock!" and continued with the bathtub story—"It takes a frightful lot of energy to fix my hair in the summer — there's so much of it — so I always fix it first and powder my face and put on my hat; then I get into the bathtub, and dress afterward. Don't you think that's the best plan?"

Though Draycott Deyo was in the throes of difficulties concerning baptism by immersion and might possibly have seen a connection, it must be admitted that he did not. He considered feminine bathing an immoral subject, and gave her some of his ideas on the depravity of modern society.

But to offset that unfortunate occurrence Bernice had several signal successes to her credit. Little Otis Ormonde pleaded off from a trip East and

V

Следующая неделя была для Вероники открытием. Она вдруг почувствовала, что ею любуются, ее слушают с удовольствием, а с этим пришла и ее уверенность в себе.

Что и говорить, на первых порах случались промахи. К примеру, она не знала, что Дрейкотт Дейо готовится принять сан; ей было невдомек, что он пригласил ее, сочтя тихой и благонаправленной девушкой. Зная она это, она не встретила бы его словами: «Привет, пожиратель сердец!», не стала бы затем потчевать рассказом про ванну: «Летом я просто ума не приложу, как управиться с волосами: они такие густые, поэтому я первым делом причесываюсь, пудрюсь и надеваю шляпку, а уж потом принимаю ванну и одеваюсь. Верно, неплохо придумано?»

Хотя Дрейкотт Дейо сейчас бился над вопросом о крещении путем погружения и, казалось, мог бы узреть тут некую связь, приходится признать, что он ее не узрел. Разговоры о женском купанье он почитал безнравственными и прочел Веронике лекцию о падении нравов в современном обществе.

Но в противовес этому промаху за Вероникой числился ряд блистательных побед. Малыш Отис Ормонд приложил все усилия, что-

elected instead to follow her with a puppylike devotion, to the amusement of his crowd and to the irritation of G. Reece Stoddard, several of whose afternoon calls Otis completely ruined by the disgusting tenderness of the glances he bent on Bernice. He even told her the story of the two-by-four and the dressing-room to show her how frightfully mistaken he and every one else had been in their first judgment of her. Bernice laughed off that incident with a slight sinking sensation.

Of all Bernice's conversation perhaps the best known and most universally approved was the line about the bobbing of her hair.

"Oh, Bernice, when you goin' to get the hair bobbed?"

"Day after tomorrow maybe," she would reply, laughing. "Will you come and see me? Because I'm counting on you, you know."

"Will we? You know! But you better hurry up."

Bernice, whose tonsorial intentions were strictly dishonorable, would laugh again.

"Pretty soon now. You'd be surprised."

But perhaps the most significant symbol of her success was the gray car of the hypercritical Warren McIntyre, parked daily in front of the Harvey house. At first the parlormaid was distinctly startled when he asked for Bernice instead of Marjorie; after a week of it she told the cook that

бы отказаться от поездки на Восток, и теперь повсеместно сопровождал Веронику с истинно щенячьей преданностью, к потехе всей компании и к досаде Д. Риса Стоддарда, чьи визиты он не раз отравил нежными до омерзения взорами, которыми пожирал Веронику. Малыш Отис даже рассказал Веронике про доску и дамскую комнату в доказательство того, как чудовищно они в ней ошибались. Вероника посмеялась над его выходкой, но сердце у нее екнуло.

Из всех ее историй наибольшим успехом пользовался рассказ о том, как она обрежет волосы.

— Вероника, когда же вы обрежете волосы?

— Скорее всего, послезавтра, — смеялась она в ответ. — Придете поглядеть? Имейте в виду, я на вас рассчитываю.

— Придем ли? Еще бы! Только поторопитесь!

И Вероника, чье намерение принять постриг было чистой воды очковтирательством, снова заливалась хохотом.

— Теперь уж скоро. Будьте готовы.

Однако всего нагляднее, пожалуй, знаменовал ее триумф серый автомобиль этого критикана Уоррена Макинтайра, вечно торчавший у дома Харви. Когда Уоррен в первый раз попросил позвать не Марджори, а Веронику, горничная не поверила своим ушам, а уже через неделю она

Miss Bernice had gotta holda Miss Marjorie's best fella.

And Miss Bernice had. Perhaps it began with Warren's desire to rouse jealousy in Marjorie; perhaps it was the familiar though unrecognized strain of Marjorie in Bernice's conversation; perhaps it was both of these and something of sincere attraction besides. But somehow the collective mind of the younger set knew within a week that Marjorie's most reliable beau had made an amazing face-about and was giving an indisputable rush to Marjorie's guest. The question of the moment was how Marjorie would take it. Warren called Bernice on the phone twice a day, sent her notes, and they were frequently seen together in his roadster, obviously engrossed in one of those tense, significant conversations as to whether or not he was sincere.

Marjorie on being twitted only laughed. She said she was mighty glad that Warren had at last found someone who appreciated him. So the younger set laughed, too, and guessed that Marjorie didn't care and let it go at that.

One afternoon when there were only three days left of her visit Bernice was waiting in the hall for Warren, with whom she was going to a bridge

оповестила кухарку, что мисс Вероника присушила первого ухажера мисс Марджори.

И так оно и было. Не исключено, что сначала Уоррен хотел вызвать ревность Марджори, не исключено, что его привлекли знакомые, хотя и еле уловимые отзвуки Марджори в речах Вероники; не исключено, что свою роль сыграло и то и другое, возможно, чем-то она его и впрямь привлекла. Но так или иначе, а только через неделю младшее поколение пришло к общему мнению: самый надежный поклонник Марджори решительно переключился на ее гостью и всю приударяет за ней. Всех интересовало, как примет эту измену Марджори. Уоррен дважды на дню звонил Веронике, посылал ей записки, часто видели, как они разъезжают в его двухместном автомобиле и пылко, вдохновенно выясняют жизненно важный вопрос: серьезно или нет он относится к ней.

Когда над Марджори подтрунивали, она смеялась в ответ. Она, говорила Марджори, только рада, что Уоррен наконец нашел кого-то, кто отвечает ему взаимностью. И, посмеявшись вместе с ней, младшее поколение решило, что Марджори, по всей видимости, нисколько не огорчена изменой, и на том успокоилось.

За три дня до отъезда Вероника как-то после обеда поджидала Уоррена в холле: они уговорились ехать играть в бридж. Настроение у нее бы-

party. She was in rather a blissful mood, and when Marjorie — also bound for the party — appeared beside her and began casually to adjust her hat in the mirror, Bernice was utterly unprepared for anything in the nature of a clash. Marjorie did her work very coldly and succinctly in three sentences.

“You may as well get Warren out of your head,” she said coldly.

“What?” Bernice was utterly astounded.

“You may as well stop making a fool of yourself over Warren McIntyre. He doesn’t care a snap of his fingers about you.”

For a tense moment they regarded each other — Marjorie scornful, aloof; Bernice astounded, half-angry, half-afraid. Then two cars drove up in front of the house and there was a riotous honking. Both of them gasped faintly, turned, and side by side hurried out.

All through the bridge party Bernice strove in vain to master a rising uneasiness. She had offended Marjorie, the sphinx of sphinxes. With the most wholesome and innocent intentions in the world she had stolen Marjorie’s property. She felt suddenly and horribly guilty.

After the bridge game, when they sat in an informal circle and the conversation became gener-

ло самое радужное, и когда Марджори, которая ехала туда же, возникла рядом в зеркале и стала небрежными движениями поправлять шляпу, Вероника, не ожидавшая нападения, была захвачена врасплох. И вот тут-то Марджори беспретпетно и решительно, в три фразы, расправилась с ней.

— Советую тебе выкинуть Уоррена из головы, — сказала она жестко.

— Что? — Вероника растерялась.

— Советую тебе: прекрати выставлять себя на посмешище. Уоррена ты ничуть не интересуешь.

Какой-то миг они напряженно разглядывали друг друга — высокомерная, отчужденная Марджори и растерянная, разом и сердитая и напуганная Вероника. Но тут перед домом остановились два автомобиля, послышался беспорядочный вой клаксонов. Девушки дружно охнули и бок о бок заспешили к выходу.

Пока шла игра, Вероника тщетно пыталась побороть нараставшую тревогу. Она оскорбила Марджори, этого сфинкса из сфинксов. С самыми что ни на есть благовидными и невинными намерениями она похитила собственность Марджори. Она вдруг почувствовала себя страшно, непоправимо виноватой.

После бриджа гости сели кружком, кто куда, разговор сделался общим, и вот тут-то разра-

al, the storm gradually broke. Little Otis Ormonde inadvertently precipitated it.

"When you going back to kindergarten, Otis?" someone had asked.

"Me? Day Bernice gets her hair bobbed."

"Then your education's over," said Marjorie quickly. "That's only a bluff of hers. I should think you'd have realized."

"That a fact?" demanded Otis, giving Bernice a reproachful glance.

Bernice's ears burned as she tried to think up an effectual come-back. In the face of this direct attack her imagination was paralyzed.

"There's a lot of bluffs in the world," continued Marjorie quite pleasantly. "I should think you'd be young enough to know that, Otis."

"Well," said Otis, "maybe so. But gee! With a line like Bernice's——"

"Really?" yawned Marjorie. "What's her latest bon mot?"

No one seemed to know. In fact, Bernice, having trifled with her muse's beau, had said nothing memorable of late.

"Was that really all a line?" asked Roberta curiously.

Bernice hesitated. She felt that wit in some form was demanded of her, but under her cousin's

зилась буря. Вызвал ее по неосмотрительности Малыш Отис Ормонд.

— Отис, ты когда возвращаешься в свой детский сад? — спросил кто-то.

— Я? Когда Вероника обрежет волосы.

— Тогда считай, что твое образование закончено, — поспешила вставить Марджори. — Это ведь чистый блеф. Я думала, вы ее давно раскусили.

— Правда? — спросил Отис, укоризненно глядя на Веронику.

У Вероники полыхали уши, ей хотелось одернуть Марджори, но, как назло, ничего не приходило в голову. Прямой наскок полностью ее парализовал.

— Блефы — не такая уж редкость, — вполне миролюбиво продолжала Марджори, — и ты, Отис, не так стар, чтобы этого не знать.

— Допускаю, — сказал Отис. — Не стану спорить. Только Веронике с ее язычком...

— Да ну? — зевнула Марджори. — И какая, интересно знать, ее последняя острота?

Никто, похоже, не знал. И впрямь, с тех пор как она покусилась на поклонника своей музыки, Вероника не говорила ничего примечательного.

— А это правда блеф? — поинтересовалась Роберта.

Вероника колебалась. Она понимала, что ей непременно надо выкрутиться поостроумнее, но

suddenly frigid eyes she was completely incapacitated.

"I don't know," she stalled.

"Splush!" said Marjorie. "Admit it!"

Bernice saw that Warren's eyes had left a ukulele he had been tinkering with and were fixed on her questioningly.

"Oh, I don't know!" she repeated steadily. Her cheeks were glowing.

"Splush!" remarked Marjorie again.

"Come through, Bernice," urged Otis. "Tell her where to get off."

Bernice looked round again — she seemed unable to get away from Warren's eyes.

"I like bobbed hair," she said hurriedly, as if he had asked her a question, "and I intend to bob mine."

"When?" demanded Marjorie.

"Any time."

"No time like the present," suggested Roberta.

Otis jumped to his feet.

"Good stuff!" he cried. "We'll have a summer bobbing party. Sevier Hotel barber-shop, I think you said."

In an instant all were on their feet. Bernice's heart throbbed violently.

взгляд кузины, внезапно обдавший холодом, не давал собраться с мыслями.

— Как сказать, — уклонилась от ответа Вероника.

— Слабо тебе? Признайся, — сказала Марджори.

Вероника заметила, что Уоррен перестал терзать гавайскую гитару и глядит на нее.

— Как сказать, — упрямо повторила она. Щеки ее пламенели.

— Слабо! — повторила Марджори.

— Не отступайтесь, Вероника, — подзуживал Отис. — Укажите Марджори ее место, пусть не важничает.

Вероника затравленно озиралась, ей казалось, глаза Уоррена неотступно следят за ней.

— Мне нравится короткая стрижка, — быстро сказала она, будто отвечая Уоррену, — и я решила обрезать волосы.

— Когда? — осведомилась Марджори.

— Когда угодно.

— Не откладывай на завтра... — начала Роберта.

Отис сорвался с места.

— Вот и отлично! — завопил он. — Устроим групповую вылазку! Вылазку в цирюльню! Вы, кажется, говорили про отель «Севье»?

Все мигом повскакали с мест. У Вероники бешено колотилось сердце.

“What?” she gasped.

Out of the group came Marjorie’s voice, very clear and contemptuous.

“Don’t worry — she’ll back out!”

“Come on, Bernice!” cried Otis, starting toward the door.

Four eyes — Warren’s and Marjorie’s — stared at her, challenged her, defied her.

For another second she wavered wildly.

“All right,” she said swiftly “I don’t care if I do.”

An eternity of minutes later, riding downtown through the late afternoon beside Warren, the others following in Roberta’s car close behind, Bernice had all the sensations of Marie Antoinette bound for the guillotine in a tumbrel. Vaguely she wondered why she did not cry out that it was all a mistake. It was all she could do to keep from clutching her hair with both hands to protect it from the suddenly hostile world. Yet she did neither. Even the thought of her mother was no deterrent now. This was the test supreme of her sportsmanship; her right to walk unchallenged in the starry heaven of popular girls.

Warren was moodily silent, and when they came to the hotel he drew up at the curb and nodded to Bernice to precede him out. Roberta’s car emptied

— Как? — выдохнула она.

Над общим шумом вознесся звонкий и презрительный голос Марджори:

— Не беспокойтесь, она еще даст задний ход.

— Вероника, едем, — на бегу кричал ей Отис.

Две пары глаз, Уоррена и Марджори, в упор смотрели на Веронику — бросали ей вызов, подрывали веру в себя.

Еще секунду она мучительно колебалась.

— Ну что ж, — сказала она быстро. — Отчего бы и не поехать?

Те несколько бесконечно долгих минут, когда Уоррен мчал ее по городу, а вся компания катила следом в автомобиле Роберты, Вероника чувствовала себя Марией Антуанеттой, влекомой в телеге на гильотину. Вероника удивлялась, почему она молчит, почему не крикнет, что все это недоразумение. Она изо всех сил удерживалась, чтобы не схватиться за волосы руками, не спасти их от неожиданно обернувшегося таким враждебным мира. И не делала ни того ни другого. Даже мысль о матери больше не пугала ее. Ей предстояло доказать свою выдержку, свое право блистать на звездном небосклоне покорительниц сердец.

Уоррен угрюмо молчал, а перед отелем остановился у обочины и дал Веронике знак выходить первой. Вся ватага с хохотом повалила из

a laughing crowd into the shop, which presented two bold plate-glass windows to the street.

Bernice stood on the curb and looked at the sign, Sevier Barber-Shop. It was a guillotine indeed, and the hangman was the first barber, who, attired in a white coat and smoking a cigarette, leaned non-chalantly against the first chair. He must have heard of her; he must have been waiting all week, smoking eternal cigarettes beside that portentous, too-often-mentioned first chair. Would they blindfold her? No, but they would tie a white cloth round her neck lest any of her blood — nonsense — hair — should get on her clothes.

“All right, Bernice,” said Warren quickly.

With her chin in the air she crossed the sidewalk, pushed open the swinging screen-door, and giving not a glance to the uproarious, riotous row that occupied the waiting bench, went up to the fat barber.

“I want you to bob my hair.”

The first barber’s mouth slid somewhat open. His cigarette dropped to the floor.

“Huh?”

“My hair — bob it!”

Refusing further preliminaries, Bernice took her seat on high. A man in the chair next to her

автомобиля Роберты в парикмахерскую, нагло таращившуюся на улицу двумя зеркальными окнами.

Вероника стояла на обочине и глядела на вывеску парикмахерской. И правда, ни дать ни взять гильотина, а тот, ближний к окну парикмахер с папиросой в зубах, развязно прислонившийся к креслу, — палач. Наверняка он слышал о ней, наверняка он уже давно ждет ее, куря одну папиросу за другой у этого громоздкого, обязательно мелькающего во всех разговорах кресла. Интересно, завяжут ли ей глаза? Нет, не завяжут, только обернут шею белой простыней, чтобы кровь... что за чушь... волосы... не попали на платье.

— Ну что ж, Вероника, — поторопил ее Уоррен.

Гордо подняв голову, она пересекла тротуар, толкнула вращающуюся дверь и, не глянув в сторону буйно веселящейся компании, подошла к ближайшему мастеру.

— Я хочу обрезать волосы.

У мастера отвисла челюсть. Он выронил папиросу.

— Чего?

— Обрезать волосы!

Отринув дальнейшие переговоры, Вероника взобралась в высокое кресло. Клиент, которого

turned on his side and gave her a glance, half lather, half amazement. One barber started and spoiled little Willy Schuneman's monthly haircut. Mr. O'Reilly in the last chair grunted and swore musically in ancient Gaelic as a razor bit into his cheek. Two bootblacks became wide-eyed and rushed for her feet. No, Bernice didn't care for a shine.

Outside a passer-by stopped and stared; a couple joined him; half a dozen small boys' nose sprang into life, flattened against the glass; and snatches of conversation borne on the summer breeze drifted in through the screen-door.

"Lookada long hair on a kid!"

"Where'd yuh get 'at stuff? 'At's a bearded lady he just finished shavin'."

But Bernice saw nothing, heard nothing. Her only living sense told her that this man in the white coat had removed one tortoise-shell comb and then another; that his fingers were fumbling clumsily with unfamiliar hairpins; that this hair, this wonderful hair of hers, was going — she would never again feel its long voluptuous pull as it hung in a dark-brown glory down her back. For a second she was near breaking down, and then the picture before her swam mechanically into her vision — Marjorie's mouth curling in a faint ironic smile as if to say:

брили рядом, извернулся и метнул на нее взгляд, где изумление мешалось с мыльной пеной. Один из мастеров дернулся, попортив юному Вилли Шунеману ежемесячную стрижку. В последнем кресле хрюкнул и мелодично выругался на языке древних кельтов мистер О'Рейли — ему в щеку вонзилась бритва. Два чистильщика сапог, выкатив глаза, рванули к Веронике. Нет-нет, туфли чистить не нужно.

Вот уже какой-то прохожий уставился в окно; к нему присоединилась парочка; откуда ни возьмись, о стекло расплющился пяток мальчишеских носов, летний ветерок вносил в дверь обрывки разговоров.

— Гляди-ка, парнишка какие волосищи отрастил!

— Скажешь тоже! Это бородатая тетка, она только что побрилась.

Но Вероника ничего не слышала, ничего не видела. Она ощущала только: вот человек в белом халате вынимает первую черепаховую гребенку, вот — вторую; руки его неуклюже возятся с непривычными шпильками; ее волосы, ее чудесные волосы — сейчас она лишится их, никогда больше не оттянут они своей роскошной тяжестью ее голову, не заструятся по спине темной блестящей рекой. Она было дрогнула, но тут в поле ее зрения очутилась Марджори — она иронически улыбалась, словно говоря:

“Give up and get down! You tried to buck me and I called your bluff. You see you haven’t got a prayer.”

And some last energy rose up in Bernice, for she clinched her hands under the white cloth, and there was a curious narrowing of her eyes that Marjorie remarked on to some one long afterward.

Twenty minutes later the barber swung her round to face the mirror, and she flinched at the full extent of the damage that had been wrought. Her hair was not curls and now it lay in lank lifeless blocks on both sides of her suddenly pale face. It was ugly as sin — she had known it would be ugly as sin. Her face’s chief charm had been a Madonna-like simplicity. Now that was gone and she was — well frightfully mediocre — not stagy; only ridiculous, like a Greenwich Villager who had left her spectacles at home.

As she climbed down from the chair she tried to smile — failed miserably. She saw two of the girls exchange glances; noticed Marjorie’s mouth curved in attenuated mockery — and that Warren’s eyes were suddenly very cold.

“You see,”— her words fell into an awkward pause— “I’ve done it.”

“Yes, you’ve — done it,” admitted Warren.

«Отступишь, пока не поздно! Ты решила потягаться со мной. Вот я и вывела тебя на чистую воду. Куда тебе до меня».

Вероника собралась с силами: руки ее под белой простыней сжались в кулаки, а глаза — этим наблюдением Марджори много времени спустя поделилась с кем-то — зловеще сузились.

Через двадцать минут мастер повернул Веронику лицом к зеркалу, и она содрогнулась, увидев размеры понесенного ущерба. Волосы ее, совершенно прямые, теперь безжизненно повисли унылыми прядями по обеим сторонам внезапно побледневшего лица. Короткая стрижка сделала ее страшной как смертный грех, и ведь она знала наперед, что так и будет. Главная прелесть ее лица заключалась в невинном выражении, придававшем ей сходство с Мадонной. Короткая стрижка уничтожила это сходство; теперь она казалась ничуть не эффектной, а скорее... ужасно заурядной и попросту смешной — вылитый синий чулок, только что очки забыла дома.

Слезая с кресла, Вероника попыталась улыбнуться, но улыбки не получилось. Она увидела, как переглянулись две девушки, заметила, как кривятся в сдерживаемой усмешке губы Марджори, каким холодом обдают ее глаза Уоррена.

— Видите, — слова ее падали в неловкую тишину, — я не отступилась.

— Да, не отступилась, — согласился Уоррен.

“Do you like it?”

There was a half-hearted “Sure” from two or three voices, another awkward pause, and then Marjorie turned swiftly and with serpentlike intensity to Warren.

“Would you mind running me down to the cleaners?” she asked. “I’ve simply got to get a dress there before supper. Roberta’s driving right home and she can take the others.”

Warren stared abstractedly at some infinite speck out the window. Then for an instant his eyes rested coldly on Bernice before they turned to Marjorie.

“Be glad to,” he said slowly.

VI

Bernice did not fully realize the outrageous trap that had been set for her until she met her aunt’s amazed glance just before dinner.

“Why Bernice!”

“I’ve bobbed it, Aunt Josephine.”

“Why, child!”

“Do you like it?”

“Why Bernice!”

“I suppose I’ve shocked you.”

“No, but what’ll Mrs. Deyo think tomorrow night? Bernice, you should have waited until after the Deyo’s dance — you should have waited if you wanted to do that.”

— Ну и как, нравится вам?

В ответ послышалось два-три не слишком искренних «еще бы», снова наступила неловкая тишина, затем Марджори по-змеиному стремительно обернулась к Уоррену.

— Ты меня подвезешь? — спросила она. — Мне до ужина непременно надо забрать платье из чистки. Роберта едет прямо домой и развезет остальных.

Уоррен отсутствующим взглядом смотрел в окно. Потом глаза его на какой-то миг холодно остановились на Веронике и лишь затем обратились на Марджори.

— Отлично, — сказал он с расстановкой.

VI

Лишь перехватив ошарашенный взгляд тетки перед обедом, Вероника поняла, в какую коварную ловушку ее заманили.

— Бог ты мой, Вероника!

— Я обрезала волосы, тетя Жозефина!

— Да что ты, дитя мое!

— Вам нравится?

— Бог ты мой, Вероника!

— Вы, наверное, возмущены?

— Но что скажет миссис Дейо? Вероника, ты бы хоть повременила, пока не пройдут эти танцы у Дейо, — да-да, повременила, если даже тебе и было невтерпех.

“It was sudden, Aunt Josephine. Anyway, why does it matter to Mrs. Deyo particularly?”

“Why child,” cried Mrs. Harvey, “in her paper on ‘The Foibles of the Younger Generation’ that she read at the last meeting of the Thursday Club she devoted fifteen minutes to bobbed hair. It’s her pet abomination. And the dance is for you and Marjorie!”

“I’m sorry.”

“Oh, Bernice, what’ll your mother say? She’ll think I let you do it.”

“I’m sorry.”

Dinner was an agony. She had made a hasty attempt with a curling-iron, and burned her finger and much hair. She could see that her aunt was both worried and grieved, and her uncle kept saying, “Well, I’ll be darned!” over and over in a hurt and faintly hostile tone. And Marjorie sat very quietly, intrenched behind a faint smile, a faintly mocking smile.

Somehow she got through the evening. Three boys called; Marjorie disappeared with one of them, and Bernice made a listless unsuccessful attempt to entertain the two others — sighed thankfully as she climbed the stairs to her room at half past ten. What a day!

When she had undressed for the night the door opened and Marjorie came in.

— Так уж получилось, тетя Жозефина. И потом, при чем тут миссис Дейо?

— Бог мой, дитя мое, — запричитала миссис Харви. — Да ведь на заседании нашего клуба она прочла доклад «О пороках молодежи» и целых пятнадцать минут отвела короткой стрижке. Это предмет ее особой ненависти. Подумать только, ведь бал она дает в честь тебя и Марджори.

— Мне очень жаль, тетя.

— Ох, Вероника, и что еще скажет мама? Она подумает, что ты это сделала с моего ведома.

— Мне очень жаль.

Обед был сплошным мучением. Вероника попыталась было наспех помочь делу с помощью щипцов, но лишь обожгла палец и спалила уйму волос. Тетка не могла скрыть свою досаду и огорчение, а дядя то и дело повторял оскорбленно и даже чуть неприязненно: «Черт меня подери». Невозмутимая Марджори восседала, отгородясь от всех улыбкой, еле заметной, но заметно издевательской.

Вероника кое-как продержалась вечер. Зашли три молодых человека, Марджори исчезла с одним из них, а Вероника без всякого воодушевления пыталась занять двух остальных, не имела успеха и, поднимаясь в половине одиннадцатого к себе, вздохнула с облегчением. Ну и денек!

Когда она была уже в ночной рубашке, дверь отворилась и вошла Марджори.

“Bernice,” she said “I’m awfully sorry about the Deyo dance. I’ll give you my word of honor I’d forgotten all about it.”

“’Sall right,” said Bernice shortly.

Standing before the mirror she passed her comb slowly through her short hair.

“I’ll take you down-town tomorrow,” continued Marjorie, “and the hairdresser’ll fix it so you’ll look slick. I didn’t imagine you’d go through with it. I’m really mighty sorry.”

“Oh, ’sall right!”

“Still it’s your last night, so I suppose it won’t matter much.”

Then Bernice winced as Marjorie tossed her own hair over her shoulders and began to twist it slowly into two long blond braids until in her cream-colored negligee she looked like a delicate painting of some Saxon princess. Fascinated, Bernice watched the braids grow. Heavy and luxurious they were moving under the supple fingers like restive snakes — and to Bernice remained this relic and the curling-iron and a tomorrow full of eyes. She could see G. Reece Stoddard, who liked her, assuming his Harvard manner and telling his dinner partner that Bernice shouldn’t have been allowed to go to the movies so much; she could see Draycott Deyo exchanging glances

— Вероника, — сказала она, — мне очень жаль, что так неудачно вышло с этим балом у Дейо. Поверь, у меня просто вылетело из головы.

— Чего там, — буркнула Вероника.

Стоя перед зеркалом, она медленно провела гребнем по своим коротким волосам.

— Завтра я тебя свезу к хорошему парикмахеру, и он наведет на тебя красоту. Я никак не думала, что ты решишься. Мне, право, очень жаль.

— Чего там!

— Впрочем, раз послезавтра тебе все равно уезжать, это, по-моему, не имеет такого уж значения.

И тут Веронику передернуло — Марджори, бросив пышные белокурые волосы на грудь, стала не спеша заплетать их на ночь; в кремовом пеньюаре, с двумя длинными косами, она, казалось, сошла с картинки, изображающей прелестную саксонскую принцессу. Вероника заворожено следила, как косы становятся все длиннее. Густые, тяжелые, они извивались в ловких пальцах Марджори, как растревоженные змеи. Веронике же ничего не оставалось, кроме этих куцых остатков прежней роскоши, щипцов для завивки и любопытных взглядов, от которых никуда не деться весь завтрашний день. Она представила себе, как Д. Рис Стоддард, симпатизировавший

with his mother and then being conscientiously charitable to her. But then perhaps by to-morrow Mrs. Deyo would have heard the news; would send round an icy little note requesting that she fail to appear — and behind her back they would all laugh and know that Marjorie had made a fool of her; that her chance at beauty had been sacrificed to the jealous whim of a selfish girl. She sat down suddenly before the mirror, biting the inside of her cheek.

“I like it,” she said with an effort. “I think it’ll be becoming.”

Marjorie smiled.

“It looks all right. For heaven’s sake, don’t let it worry you!”

“I won’t.”

“Good night Bernice.”

But as the door closed something snapped within Bernice. She sprang dynamically to her feet, clinching her hands, then swiftly and noiseless crossed over to her bed and from underneath it dragged out her suitcase. Into it she tossed toilet articles and a change of clothing. Then she turned to her trunk and quickly dumped in two drawer-fulls of lingerie and stammer dresses. She moved

ей, склоняясь к соседке по столу, изречет в своей высокомерной гарвардской манере, что зря, мол, Веронику так много пускали в кино, это не пошло ей на пользу; представила, как Дрейкотт Дейо переглянется с матерью, а потом будет подчеркнуто внимателен к ней. Впрочем, скорее всего, завтра миссис Дейо уже донесут о случившемся; она пришлет сухую записку, в которой попросит Веронику не утруждать себя и не приходить к ним, и все будут за ее спиной смеяться, понимая, что Марджори оставила ее в дураках и что она изуродовала себя, потакая ревнивой прихоти себялюбивой девчонки. Она опустила на стул перед зеркалом и прикусила губу.

— А мне нравится, — через силу сказала она. — По-моему, мне пойдет такая прическа.

Марджори усмехнулась.

— Да все в порядке. И не страдай ты так.

— И не думаю.

— Спокойной ночи, Вероника.

Едва за Марджори закрылась дверь, как в Веронике произошел какой-то перелом. Она решительно вскочила, стараясь не шуметь, побежала к кровати и вытащила из-под нее чемодан. Покидала туда туалетные принадлежности и платье на смену. Потом занялась сундуком — опростала в него два ящика комода, полных белья и летних нарядов. Она двигалась четко

quietly, but deadly efficiency, and in three-quarters of an hour her trunk was locked and strapped and she was fully dressed in a becoming new travelling suit that Marjorie had helped her pick out.

Sitting down at her desk she wrote a short note to Mrs. Harvey, in which she briefly outlined her reasons for going. She sealed it, addressed it, and laid it on her pillow. She glanced at her watch. The train left at one, and she knew that if she walked down to the Marlborough Hotel two blocks away she could easily get a taxicab.

Suddenly she drew in her breath sharply and an expression flashed into her eyes that a practiced character reader might have connected vaguely with the set look she had worn in the barber's chair — somehow a development of it. It was quite a new look for Bernice — and it carried consequences.

She went stealthily to the bureau, picked up an article that lay there, and turning out all the lights stood quietly until her eyes became accustomed to the darkness. Softly she pushed open the door to Marjorie's room. She heard the quiet, even breathing of an untroubled conscience asleep.

She was by the bedside now, very deliberate and calm. She acted swiftly. Bending over she found one of the braids of Marjorie's hair, followed it up with her hand to the point nearest the

и расторопно; не прошло и часа, как сундук был закрыт, затянут ремнями, а она одета в элегантный дорожный костюм, купленный по совету Марджори.

Присев к столу, она написала короткую записку миссис Харви, в которой вкратце изложила, почему уезжает. Запечатав записку, написала ее и положила на подушку. Поглядела на часы. Поезд уходил в час, она знала, что у отеля «Марборо», за два квартала, всегда можно поймать такси.

Вдруг у нее перехватило дыхание, а глаза решительно сверкнули — человек проникательный заметил бы тут связь с тем выражением решимости, которое появилось у нее в парикмахерской, — во всяком случае, некое его следствие. Выражение необычное для Вероники и не сулившее ничего доброго.

Вероника прокралась к комоду, вынула оттуда какой-то предмет, погасила все лампы и постояла неподвижно, пока глаза не привыкли к темноте. Потом беззвучно распахнула дверь в комнату кухни. До нее донеслось безмятежное, ровное дыхание Марджори, спящей сном праведницы.

И вот она уже стоит у кровати, до предела сосредоточенная и хладнокровная. Она действовала быстро и ловко. Нагнувшись, ощупью отыскала одну косу, перехватывая, добралась до самого

head, and then holding it a little slack so that the sleeper would feel no pull, she reached down with the shears and severed it. With the pigtail in her hand she held her breath. Marjorie had muttered something in her sleep. Bernice deftly amputated the other braid, paused for an instant, and then flitted swiftly and silently back to her own room.

Downstairs she opened the big front door, closed it carefully behind her, and feeling oddly happy and exuberant stepped off the porch into the moonlight, swinging her heavy grip like a shopping-bag. After a minute's brisk walk she discovered that her left hand still held the two blond braids. She laughed unexpectedly — had to shut her mouth hard to keep from emitting an absolute peal. She was passing Warren's house now, and on the impulse she set down her baggage, and swinging the braids like piece of rope flung them at the wooden porch, where they landed with a slight thud.

She laughed again, no longer restraining herself.

"Huh," she giggled wildly. "Scalp the selfish thing!"

Then picking up her staircase she set off at a half-run down the moonlit street.

ее основания, чуть припустила, чтобы не дернуть ненароком и не разбудить спящую, приставила ножницы и чикнула. Зажав косу в кулаке, Вероника на миг затаила дыхание. Марджори что-то пробормотала во сне. Вероника ловко отрезала вторую косу, секунду помедлила, потом быстро и неслышно выскользнула из комнаты.

Внизу она открыла массивную парадную дверь, тщательно притворила ее за собой и с ощущением небывалого восторга и счастья, помахивая увесистым чемоданом, будто сумочкой, ступила с порога в лунный свет. Бодро зашагала к отелю, но почти сразу спохватилась, что все еще несет в левой руке две белокурые косы. Неожиданно расхохоталась и поспешно прикрыла рот рукой, чтобы не завизжать от радости. Поравнявшись с домом Уоррена, она, повинувшись внезапному порыву, опустила чемодан на землю, взметнула косами, как обрывками веревок, размахнулась — и косы с глухим стуком упали на деревянное крыльцо.

Вероника снова рассмеялась — теперь уже не сдерживаясь.

— Ага, получила! — закатывалась она. — Сняли скальп с вредины!

Потом подхватила чемодан и чуть не бегом припустила по залитой луною улице.

Crazy Sunday

I

It was Sunday — not a day, but rather a gap between two other days. Behind, for all of them, lay sets and sequences, the long waits under the crane that swung the microphone, the hundreds miles a day by automobiles to and fro across a county, the struggles of rival ingenuities in the conference rooms, the ceaseless compromise, the clash and strain of many personalities fighting for their lives. And now Sunday, with individual life starting up again, with a glow kindling in eyes that had been glazed with monotony the afternoon before. Slowly as the hours waned they came awake like Puppenfeen in a toy shop: an intense colloquy in a corner, lovers disappearing to neck in a hall. And the feeling of ‘Hurry, it’s not too late, but for God’s sake hurry before the blessed forty hours of leisure are over.’

Сумасшедшее воскресенье

I

Воскресенье. Не день, а лишь узкий просвет между двумя обычными днями. Позади съёмочные площадки и дубли, долгое ожидание под микрофонным журавлем, сотни миль за день во все концы Калифорнии на автомобилях, состязания в изобретательности и остроумии в студийных кабинетах, уступки и компромиссы, атаки и отступления, — тяжкая битва множества человеческих личностей, битва не на жизнь, а на смерть. Но вот воскресенье, и снова вступает в свои права личная жизнь, и загораются блеском глаза, еще накануне подернутые тусклой пеленой монотонности. Томительно тянутся последние часы будней, и медленно, будто заводные куклы в игрушечной лавке, оживают люди: в углу о чем-то увлеченно сговариваются, влюбленные ускользают в коридор целоваться, и у всех одно ощущение: «Скорей, скорей. Еще не поздно, но, ради бога, торопитесь, ведь не

Joel Coles was writing continuity. He was twenty-eight and not yet broken by Hollywood. He had had what were considered nice assignments since his arrival six months before and he submitted his scenes and sequences with enthusiasm. He referred to himself modestly as a hack but really did not think of it that way. His mother had been a successful actress; Joel had spent his childhood between London and New York trying to separate the real from the unreal, or at least to keep one guess ahead. He was a handsome man with the pleasant cow-brown eyes that in 1913 had gazed out at Broadway audiences from his mother's face.

When the invitation came it made him sure that he was getting somewhere. Ordinarily he did not go out on Sundays but stayed sober and took work home with him. Recently they had given him a Eugene O'Neill play destined for a very important lady indeed. Everything he had done so far had pleased Miles Calman, and Miles Calman was the only director on the lot who did not work under a supervisor and was responsible to the money men alone. Everything was clicking into place in Joel's career. ('This is Mr Calman's secretary. Will you come to tea from four to six Sunday — he lives in Beverly Hills, number—.')

успеешь оглянуться, и они кончатся, эти благовременные сорок часов отдыха!»

Джоэл Коулз писал сценарии. Ему было двадцать восемь лет, и Голливуд еще не сломил его. Все эти полгода, с тех пор как он сюда приехал, он получал удачные по здешним понятиям заказы и с увлечением разрабатывал эпизоды и сочинял диалоги. Он скромно именовал себя поденщиком, хотя на самом деле думал иначе. Мать Джоэла была известной актрисой, и все его детство прошло между Лондоном и Нью-Йорком в попытках понять, где подлинная жизнь, а где игра, или хотя бы не слишком в этом путаться. Он был красивый, с томными карими глазами — те же глаза смотрели в 1913 году на бродвейскую публику с лица его матери.

Получив утром приглашение, Джоэл окончательно убедился, что кое-чего уже достиг. Обычно по воскресеньям он никуда не ходил, не пил и брал работу домой. Недавно ему дали пьесу Юджина О'Нила — фильм ставился для очень знаменитой актрисы. Все, что он делал до сих пор, нравилось Майлзу Кэлмену, а Майлз Кэлмен был единственный режиссер на студии, у которого никто не стоял над душой, он отчитывался непосредственно перед теми, кто финансировал фильм. В карьере Джоэла все шло как надо. («Говорит секретарь мистера Кэлмена. Он приглашает вас в воскресенье на чашку чая,

Joel was flattered. It would be a party out of the top-drawer. It was a tribute to himself as a young man of promise. The Marion Davies crowd, the high-hats, the big currency numbers, perhaps even Dietrich and Garbo and the Marquis, people who were not seen everywhere, would probably be at Calman's.

'I won't take anything to drink,' he assured himself. Calman was audibly tired of rummies, and thought it was a pity the industry could not get along without them.

Joel agreed that writers drank too much — he did himself, but he wouldn't this afternoon. He wished Miles would be within hearing when the cocktails were passed to hear his succinct, unobtrusive, 'No, thank you.'

Miles Calman's house was built for great emotional moments — there was an air of listening, as if the far silences of its vistas hid an audience, but this afternoon it was thronged, as though people had been bidden rather than asked. Joel noted with pride that only two other writers from the studio were in the crowd, an ennobled limey and, somewhat to his surprise, Nat Keogh, who had evoked Calman's impatient comment on drunks.

от четырех до шести... Беверли-Хиллз, дом номер...)

Джоэл был польщен. Изысканный светский прием. Его признали многообещающим молодым человеком. Дом, где бывают большие люди, приятели Мэрион Дэвис; быть может, придут даже Дитрих, Гарбо и Маркиза, а их встретить не так-то просто.

«Пить не буду», — заверил себя Джоэл. Кэлмен не терпит пьяниц, о чем заявляет во всеуслышание, сожалея, что кинопромышленность не может без них обойтись.

Кэлмен прав: сценаристы пьют слишком много. Вот и он сам... Но сегодня — ни капли. Хорошо бы Майлз оказался где-нибудь рядом, когда подадут коктейли, и услышал его скромное и краткое: «Спасибо, не пью».

Дом Майлза Кэлмена был создан для высоких прозрений — казалось, он сосредоточенно внимает, словно тишина его анфилад прятала невидимых слушателей, но в этот день здесь было полно народу, будто гостей не пригласили, а пригнали сюда целой толпой. И кроме него всего два сценариста, с гордостью отметил Джоэл: титулованный англичанин и, как ни странно, Нат Кьюу, хотя именно он и послужил поводом для раздраженного замечания Кэлмена о пьяницах.

Stella Calman (Stella Walker, of course) did not move on to her other guests after she spoke to Joel. She lingered — she looked at him with the sort of beautiful look that demands some sort of acknowledgement and Joel drew quickly on the dramatic adequacy inherited from his mother:

‘Well, you look about sixteen! Where’s your kiddy car?’

She was visibly pleased; she lingered. He felt that he should say something more, something confident and easy — he had first met her when she was struggling for bits in New York. At the moment a tray slid up and Stella put a cocktail glass into his hand.

‘Everybody’s afraid, aren’t they?’ he said, looking at it absently. ‘Everybody watches for everybody else’s blunders, or tries to make sure they’re with people that’ll do them credit. Of course that’s not true in your house,’ he covered himself hastily. ‘I just meant generally in Hollywood.’

Stella agreed. She presented several people to Joel as if he were very important. Reassuring himself that Miles was at the other side of the room, Joel drank the cocktail.

‘So you have a baby?’ he said. ‘That’s the time to look out. After a pretty woman has had her first child, she’s very vulnerable, because she wants

Стелла Кэлмен (она же знаменитая Стелла Уокер), поздоровавшись с Джоэлом, не отошла к другим гостям. Она медлила — она была так очаровательна, что это требовало признания, и Джоэл положился на свой актерский дар, унаследованный от матери.

— Вам же шестнадцать лет, не больше! Где ваш педальный автомобильчик?

Ей это явно понравилось — она все медлила. Джоэл почувствовал, что должен сказать еще что-то, дружески и просто — он познакомился со Стеллой в Нью-Йорке несколько лет назад, когда она билась за самые маленькие роли. Тут появился поднос с коктейлями, и Стелла протянула ему бокал.

— Все боятся, верно? — сказал он, рассеянно взглянув на бокал. — Все следят друг за другом, не совершит ли кто-нибудь промах, или прикидывают, с тем ли человеком говорят, будет ли от этого польза... К вашему дому это, конечно, не относится, — спохватился он. — Я говорю вообще о Голливуде.

Стелла согласилась. Она представила Джоэлу нескольких гостей, словно он был важной персоной. Убедившись, что Майлз далеко, Джоэл выпил коктейль.

— Значит, у вас уже малыш, — сказал он. — Тогда берегитесь. Хорошенькая женщина после первого ребенка оказывается в очень уязвимом

to be reassured about her own charm. She's got to have some new man's unqualified devotion to prove to herself she hasn't lost anything.'

'I never get anybody's unqualified devotion,' Stella said rather resentfully.

'They're afraid of your husband.'

'You think that's it?' She wrinkled her brow over the idea; then the conversation was interrupted at the exact moment Joel would have chosen.

Her attentions had given him confidence. Not for him to join safe groups, to slink to refuge under the wings of such acquaintances as he saw about the room.

He walked to the window and looked out towards the Pacific, colourless under its sluggish sunset. It was good here — the American Riviera and all that, if there were ever time to enjoy it. The handsome, well-dressed people in the room, the lovely girls, and the — well, the lovely girls. You couldn't have everything.

He saw Stella's fresh boyish face, with the tired eyelid that always drooped a little over one eye, moving about among her guests and he wanted to sit with her and talk a long time as if she were a girl instead of a name; he followed her to see if she paid anyone as much attention as she had paid him. He took another cocktail — not because he needed confidence but because she had given him

положении. Ей надо увериться, что она все так же пленительна. И только преданное поклонение какого-нибудь нового мужчины может доказать ей, что ничего не изменилось.

— Мне еще никто никогда преданно не поклонялся, — не без сожаления сказала Стелла.

— Просто все боятся вашего мужа.

— Вы так считаете? — Наморщив лоб, она задумалась над его словами, но тут их прервали — в самый подходящий момент, решил Джоэл.

Благосклонность Стеллы вселила в него уверенность. Нет, не его удел пристраиваться к тихим группкам или искать приют под крылышком знакомых.

Он подошел к окну и стал смотреть на Тихий океан, белесый в ленивых лучах заката. Хорошо здесь — американская Ривьера и все такое прочее, жаль только, некогда всем этим наслаждаться. Красивые, элегантные люди вокруг, прелестные девушки и... прелестные девушки. Нельзя же иметь все на свете!

Юное мальчишеское лицо Стеллы мелькало среди гостей, одно веко было устало прищиплено и подрагивало, Джоэлу захотелось сесть с ней рядом и завести долгий задушевный разговор, просто так, забыв о ее громком имени. Он следил за ней, проверяя, уделит ли она кому-нибудь столько же внимания, как ему. И выпил второй коктейль, но не потому, что хотел при-

so much of it. Then he sat down beside the director's mother.

'Your son's gotten to be a legend, Mrs Calman — Oracle and a Man of Destiny and all that. Personally, I'm against him but I'm in a minority. What do you think of him? Are you impressed? Are you surprised how far he's gone?'

'No, I'm not surprised,' she said calmly. 'We always expected a lot from Miles.'

'Well now, that's unusual,' remarked Joel. 'I always think all mothers are like Napoleon's mother. My mother didn't want me to have anything to do with the entertainment business. She wanted me to go to West Point and be safe.'

'We always had every confidence in Miles.'

He stood by the built-in bar of the dining-room with the good-humoured, heavy-drinking, highly paid Nat Keogh.

'I made a hundred grand during the year and lost forty grand gambling, so now I've hired a manager.'

'You mean an agent,' suggested Joel.

'No, I've got that too. I mean a manager. I make over everything to my wife and then he and my wife get together and hand me out the money. I pay him five thousand a year to hand me out my money.'

дать себе уверенности, а потому, что после разговора со Стеллой уверенности у него было хоть отбавляй. Он подсел к матери хозяина дома.

— Ваш сын, миссис Кэлмен, стал живой легендой. Непогрешимый оракул, избранник судьбы! Лично я бунтую, но я в меньшинстве. А что думаете вы? Вы удивлены? Вас поражает, сколь многого он достиг?

— Ничуть, — спокойно ответила она. — Мы всегда возлагали на Майлза большие надежды.

— А знаете, это необычно, — заметил Джоэл. — Мне казалось, что все матери похожи на мать Наполеона. Моя, например, не хотела, чтобы я имел хоть какое-то отношение к зрелищам. Она хотела, чтобы я поступил в Вест-Пойнт, вот надежное поприще.

— Мы всегда верили в Майлза...

В столовой, у стенного бара, он поболтал с добродушным, вечно пьяным и высокооплачиваемым Натом Кьюу.

— За год я заработал сто тысяч и сорок проиграл, так что пришлось мне взять управляющего.

— Вы имеете в виду — агента? — подсказал Джоэл.

— Да нет, агент у меня тоже есть. Управляющего. Я все отдаю жене, а она совещается с ним, и они выдают мне деньги на расходы. Я плачу ему пять тысяч в год, чтобы он выдавал мне мои же деньги.

‘You mean your agent.’

‘No, I mean my manager, and I’m not the only one — a lot of other irresponsible people have him.’

‘Well, if you’re irresponsible why are you responsible enough to hire a manager?’

‘I’m just irresponsible about gambling. Look here—’

A singer performed; Joel and Nat went forward with the others to listen.

II

The singing reached Joel vaguely; he felt happy and friendly towards all the people gathered there, people of bravery and industry, superior to bourgeoisie that outdid them in ignorance and loose living, risen to a position of the highest prominence in a nation that for a decade had wanted only to be entertained. He liked them — he loved them. Great waves of good feeling flowed through him.

As the singer finished his number and there was a drift towards the hostess to say good-bye, Joel had an idea. He would give them Building It Up, his own composition. It was his only parlour trick, it had amused several parties and it might

— Ваш агент?

— Да нет же, управляющий! И я не один такой — у него большая клиентура среди безответственных людей.

— Но хватило же у вас ответственности нанять управляющего!

— Я безответствен, когда играю. Дело в том...

В гостиной запел певец; Джоэл и Нат вместе с другими гостями пошли туда.

II

Пение доносилось словно издалека; Джоэл был полон счастья и дружеского расположения ко всем собравшимся здесь людям — таким трудолюбивым и мужественным, не в пример дельцам-буржуа, которые если и опередили их, так только в невежестве и разврате, — людям, добившимся самого высокого положения в стране, вот уже целое десятилетие жаждавшей лишь одного — развлечений. Они ему нравились, он их любил. Теплые волны доброжелательства накатывали на него одна за другой.

Певец умолк, гости начали подходить к хозяйке прощаться, и вдруг Джоэла осенило. Сейчас он им представит «Заварим погуще» — свой коронный номер, который уже имел успех на нескольких вечерах и, наверное, понравится

please Stella Walker. Possessed by the hunch, his blood throbbing with the scarlet corpuscles of exhibitionism, he sought her.

‘Of course,’ she cried. ‘Please! Do you need anything?’

‘Someone has to be the secretary that I’m supposed to be dictating to.’

‘I’ll be her.’

As the word spread, the guests in the hall, already putting on their coats to leave, drifted back and Joel faced the eyes of many strangers. He had a dim foreboding, realizing that the man who had just performed was a famous radio entertainer. Then someone said ‘Sh!’ and he was alone with Stella, the centre of a sinister Indian-like half-circle. Stella smiled up at him expectantly — he began.

His burlesque was based upon the cultural limitations of Mr Dave Silverstein, an independent producer; Silverstein was presumed to be dictating a letter outlining a treatment of a story he had bought.

‘—a story of divorce, the younger generation, and the Foreign Legion,’ he heard his voice saying, with the intonations of Mr Silverstein. ‘But we got to build it up, see?’

A sharp pang of doubt struck through him. The faces surrounding him in the gently moulded light were intent and curious, but there was no ghost of

Стелле Уокер. Он бросился к ней, и кровь застучала у него в висках: сейчас он покажет всем, на что он способен!

— Ну конечно! Непременно! — воскликнула она. — Вам что-нибудь понадобится?

— Кто-то должен сыграть секретаршу — я ей диктую.

— Я сыграю!

Гости, уже надевавшие пальто в передней, потянулись обратно, на Джоэла со всех сторон воззрились чужие люди. Ему стало не по себе: он вдруг сообразил, что певец был знаменитость, радиозвезда. Но кто-то сказал: «Шш!» — и они со Стеллой очутились в центре зловещего полукруга, как на индейском празднестве. Стелла выжидательно улыбнулась, и он начал...

Сценка строилась на пробелах в образовании мистера Дэйва Силверстина, независимого продюсера; Джоэл изображал, как тот диктует указания сценаристу, в каком духе следует обработать роман, который он купил для экранизации.

— ...подкинем туда развод, молодую пару и чуток подперчим, — слышал он свой голос, подражающий интонациям Силверстина. — Ну, к примеру, он после развода да в Африку, в Иностранный легион. Заварим погуще, ясно?

Тут его кольнуло сомнение. Мягко освещенные лица вокруг смотрели на него внимательно и не без любопытства, но ни тени улыбки, ни

a smile anywhere; directly in front the Great Lover of the screen glared at him with an eye as keen as the eye of a potato. Only Stella Walker looked up at him with a radiant, never faltering smile.

‘If we make him a Menjou type, then we get a sort of Michael Arlen only with a Honolulu atmosphere.’

Still not a ripple in front, but in the rear a rustling, a perceptible shift towards the left, towards the front door.

‘—then she says she feels this sex appil for him and he burns out and says, “Oh, go on destroy yourself—” ‘

At some point he heard Nat Keogh snicker and here and there were a few encouraging faces, but as he finished he had the sickening realization that he had made a fool of himself in view of an important section of the picture world, upon whose favour depended his career.

For a moment he existed in the midst of a confused silence, broken by a general trek for the door. He felt the undercurrent of derision that rolled through the gossip; then — all this was in the space of ten seconds — the Great Lover, his eye hard and empty as the eye of a needle, shouted ‘Boo! Boo!’ voicing in an overtone what he felt was the mood of the crowd. It was the resentment of the professional towards the amateur, of the community towards the stranger, the thumbs-down of the clan.

у кого. Холодными рыбьими глазами уставился на Джоэла Великий Любовник экрана, который стоял прямо напротив. И только Стелла Уокер глядела на него все с той же сияющей улыбкой.

— ...того, что постарше, дать под Менжу, только чтоб антураж, как в Гонолулу, и таким манером получаем Майкла Арлена...

Первые ряды неподвижны, но сзади шорох и заметное движение влево, к двери.

— ...Тут она ему — у меня, мол, к тебе сексапил. А он как вскинется — катись, говорит, отсюда подальше.

Один раз он услышал, как фыркнул Нат Кьюу, на двух-трех лицах мелькнула улыбка, но когда он кончил, то с ужасающей ясностью понял, что выставил себя дураком перед столпами мира кино, от которых зависит его карьера.

Еще мгновение мучительной, неловкой тишины, затем гости направились к дверям. Он уловил насмешку в поднявшемся шуме голосов, потом — все это за какие-то десять секунд! — Первый Любовник с пустыми, стеклянными глазами громко сказал: «Мура», выразив, как показалось Джоэлу, общее настроение. Это было презрение профессионалов к любителю, сплоченной общины к чужаку, безжалостный приговор клана.

Only Stella Walker was still standing near and thanking him as if he had been an unparalleled success, as if it hadn't occurred to her that anyone hadn't liked it. As Nat Keogh helped him into his overcoat, a great wave of self-disgust swept over him and he clung desperately to his rule of never betraying an inferior emotion until he no longer felt it.

'I was a flop,' he said lightly, to Stella. 'Never mind, it's a good number when appreciated. Thanks for your cooperation.'

The smile did not leave her face — he bowed rather drunkenly and Nat drew him towards the door...

The arrival of his breakfast awakened him into a broken and ruined world. Yesterday he was himself, a point of fire against an industry, today he felt that he was pitted under an enormous disadvantage, against those faces, against individual contempt and collective sneer. Worse than that, to Miles Calman he was become one of those rummies, stripped of dignity, whom Calman regretted he was compelled to use. To Stella Walker on whom he had forced a martyrdom to preserve the courtesy of her house — her opinion he did not dare to guess. His gastric juices ceased to flow and he set his poached eggs back on the telephone table. He wrote:

Только Стелла Уокер все еще стояла рядом и благодарила его так горячо, будто он всех привел в восторг, будто она и не заметила, что скетч никому не понравился. Нат Кьюу помог ему надеть пальто, и тут Джоэла захлестнула волна отворачивания к себе, и он едва не нарушил свое правило таить обиды про себя, пока они не утихнут.

— Провалился, — весело сказал он Стелле. — Ну и пусть. Отличный номер, когда хорошо принимают. Спасибо вам за помощь.

Она по-прежнему улыбалась, он склонился в пьяном поклоне, и Нат потянул его к двери...

Поданный завтрак вернул Джоэла из тумана снов в расколотый вдребезги мир. Вчера еще он был самым собой, ярким факелом, готовым озарить киномир, а сегодня погребен под катастрофической неудачей — он один против этих холодных физиономий, против презрения каждого и глумления всех! Хуже того, для Майлза Кэлмена он стал теперь одним из тех жалких пьяниц, работать с которыми для режиссера тяжкий крест. А Стелла Уокер, которая принесла себя в жертву гостеприимству, — о ней он даже боялся думать. Аппетит у него пропал совершенно, он поставил яичницу на телефонный столик и написал:

Dear Miles,

You can imagine my profound self-disgust. I confess to a taint of exhibitionism, but at six o'clock in the afternoon, in broad daylight! Good God! My apologies to your wife.

Yours ever,
Joel Coles

Joel emerged from his office on the lot only to slink like a malefactor to the tobacco store. So suspicious was his manner that one of the studio police asked to see his admission card. He had decided to eat lunch outside when Nat Keogh, confident and cheerful, overtook him.

‘What do you mean you’re in permanent retirement? What if that Three-Piece Suit did boo you? ‘Why, listen,’ he continued, drawing Joel into the studio restaurant. ‘The night of one of his premieres at Grauman’s, Joe Squires kicked his tail while he was bowing to the crowd. The ham said Joe’d hear from him later but when Joe called him up at eight o’clock next day and said, ‘I thought I was going to hear from you,’ he hung up the phone.’

The preposterous story cheered Joel, and he found a gloomy consolation in staring at the group

Дорогой Майлз!

Вы, конечно, понимаете, как я сам себе противен. Каюсь, иной раз на меня находят приступы эксгибиционизма, но в гостях, среди бела дня! О боже! Приношу глубочайшие извинения вашей супруге.

Всегда ваш,
Джоэл Коулз

В студии Джоэл отсиживался в своем кабинете и вышел только для того, чтобы прокрасться в табачную лавку, словно какой-то воришка. Поведение его было столь подозрительным, что дежурный охранник потребовал у него пропуск. Пообедать он решил в городе, но тут его перехватил Нат Кьюу, беспечный и веселый.

— Да никак вы обрекли себя на вечное заточение? Ну, ошибал вас этот пижон, так что? Хотите, расскажу вам одну историю? — продолжал он, увлекая Джоэла в студийный ресторан. — Как-то на премьере у Граумена этот тип раскладывался перед зрителями, а Джо Сквайерс дал ему коленкой под зад. Тогда этот индюк заявил, что потребует объяснения. Назавтра в восемь утра Джо ему позвонил. Кажется, говорит, вы хотели со мной объясниться. Только ответа Джо не дождался — тот сразу же положил трубку.

Эта нелепица подбодрила Джоэла, и он стал разглядывать компанию за соседним столи-

at the next table, the sad, lovely Siamese twins, the mean dwarfs, the proud giant from the circus picture. But looking beyond at the yellow-stained faces of pretty women, their eyes all melancholy and startling with mascara, their ball gowns garish in full day, he saw a group who had been at Calman's and winced.

‘Never again,’ he exclaimed aloud, ‘absolutely my last social appearance in Hollywood!’

The following morning a telegram was waiting for him at his office:

You were one of the most agreeable people at our party. Expect you at my sister June's buffet supper next Sunday.

STELLA WALKER CALMAN

The blood rushed fast through his veins for a feverish minute. Incredulously he read the telegram over.

‘Well, that's the sweetest thing I ever heard of in my life!’

III

Crazy Sunday again. Joel slept until eleven, then he read a newspaper to catch up with the past week. He lunched in his room on trout, avo-

ком, находя в этом мрачное утешение: грустные и милые сиамские близнецы, злобные карлики и гордый великан — актеры, занятые в фильме о цирке. Однако, взглянув на другой столик — на хорошеньких женщин, чьи лица сейчас желтели гримом, густо подведенные глаза были печальны, а бальные платья выглядели при свете дня дешевой мишурой, — он поежился: они были вчера у Кэлмена.

— Нет, конечно! — воскликнул он. — Никаких светских приемов отныне и во веки веков.

На следующий день в студии его ждала телеграмма.

Вы были одним из самых приятных наших гостей. Жду вас к ужину в следующее воскресенье у моей сестры Джун.

СТЕЛЛА УОКЕР КЭЛМЕН

Кровь бешено застучала у него в висках, он перечитал телеграмму.

«Господи! До чего же это мило с ее стороны!»

III

Снова этот сумасшедший день — воскресенье. Джоэл проспал до одиннадцати, потом проглядел газету, чтобы быть в курсе всех новостей

cado salad, and a pint of California wine. Dressing for the tea, he selected a pin-check suit, a blue shirt, a burnt orange tie. There were dark circles of fatigue under his eyes. In his second-hand car he drove to the Riviera apartments. As he was introducing himself to Stella's sister, Miles and Stella arrived in riding clothes — they had been quarrelling fiercely most of the afternoon on all the dirt roads back of Beverly Hills.

Miles Calman, tall, nervous, with a desperate humour and the unhappiest eyes Joel ever saw, was an artist from the top of his curiously shaped head to his niggerish feet. Upon these last he stood firmly — he had never made a cheap picture though he had sometimes paid heavily for the luxury of making experimental flops. In spite of his excellent company, one could not be with him long without realizing that he was not a well man.

From the moment of their entrance Joel's day bound itself up inextricably with theirs. As he joined the group around them Stella turned away from it with an impatient little tongue click — and Miles Calman said to the man who happened to be next to him:

за неделю. Позавтракал он у себя: форель, салат из авокадо, пинта калифорнийского вина. Когда пришло время одеваться, он выбрал костюм в клеточку, голубую рубашку и палевый галстук. От усталости под глазами у него темнели круги. Он подъехал к особняку на Ривьере в своей подержанной машине и только успел представиться сестре Стеллы, как явились Стелла с Майлзом в костюмах для верховой езды — несколько часов подряд они жестоко ссорились на всех дорогах за Беверли-Хиллз.

Майлз Кэлмен — высокий, нервный, блистательно остроумный и с такими скорбными глазами, каких Джоэл не видел ни у кого, был художником от макушки своей странновато слепленной головы до тяжелых нескладных ног. На них он стоял твердо: он не снял ни одного прошлого фильма, хотя иной раз ему приходилось дорого расплачиваться за неудавшийся эксперимент — роскошь, которую он мог себе позволить. Он был обаятельным собеседником, но каждому, кто имел с ним дело, вскоре становилось ясно, что человек он больной.

Едва Кэлмены вошли, как день Джоэла нерасторжимо сплелся с их днем. Он направился к собравшемуся возле них кружку, но тут Стелла, раздраженно прицелкнув языком, отошла, а Майлз сказал кому-то рядом:

‘Go easy on Eva Goebel. There’s hell to pay about her at home.’ Miles turned to Joel, ‘I’m sorry I missed you at the office yesterday. I spent the afternoon at the analyst’s.’

‘You being psychoanalyzed?’

‘I have been for months. First I went for claustrophobia, now I’m trying to get my whole life cleared up. They say it’ll take over a year.’

‘There’s nothing the matter with your life,’ Joel assured him.

‘Oh, no? Well, Stella seems to think so. Ask anybody — they can all tell you about it,’ he said bitterly.

A girl perched herself on the arm of Miles’s chair; Joel crossed to Stella, who stood disconsolately by the fire.

‘Thank you for your telegram,’ he said. ‘It was darn sweet. I can’t imagine anybody as good-looking as you are being so good-humoured.’

She was a little lovelier than he had ever seen her and perhaps the unstinted admiration in his eyes prompted her to unload on him — it did not take long, for she was obviously at the emotional bursting point.

‘—and Miles has been carrying on this thing for two years, and I never knew. Why, she was one

— Только не упоминайте Еву Гобел, не то дома мне костей не собрать. — Майлз повернулся к Джоэлу: — Я, к сожалению, не сумел взглянуть вчера к вам на студию. Полдня провел у своего психиатра.

— Психоанализ?

— Да, и уже давно. Я обратился к нему по поводу клаустрофобии, а теперь пытаюсь распутать всю свою жизнь. Говорят, на это потребуются не меньше года.

— Но в вашей жизни все прекрасно, — уверил его Джоэл.

— Вы думаете? А вот Стелла так не считает, — с горечью сказал Майлз. — Спросите кого угодно, вам всякий скажет.

Какая-то девица уселась на ручку его кресла, и Джоэл подошел к Стелле, которая потерянно стояла у камина.

— Спасибо за телеграмму, — сказал он. — Она была как бальзам на душу. Вы такая красивая и такая добрая! Значит, бывают и добрые красавицы.

Она была даже еще красивей в это воскресенье, и, быть может, искреннее восхищение, которое она прочла в его глазах, побудило ее довериться ему — сразу же, немедленно, потому что она была на грани истерики.

— ...целых два года, а я даже не подозревала. Она ведь считалась моей лучшей подругой,

of my best friends, always in the house. Finally when people began to come to me, Miles had to admit it.'

She sat down vehemently on the arm of Joel's chair. Her riding breeches were the colour of the chair and Joel saw that the mass of her hair was made up of some strands of red gold and some of pale gold, so that it could not be dyed and that she had on no makeup. She was that good-looking —

Still quivering with the shock of her discovery, Stella found unbearable the spectacle of a new girl hovering over Miles; she led Joel into a bedroom, and seated at either end of a big bed they went on talking. People on their way to the washroom glanced in and made wise-cracks, but Stella, emptying out her story, paid no attention. After a while Miles stuck his head in the door and said.

'There's no use trying to explain something to Joel in half an hour that I don't understand myself and the psychoanalyst says will take a whole year to understand.'

She talked on as if Miles were not there. She loved Miles, she said — under considerable difficulties she had always been faithful to him.

'The psychoanalyst told Miles that he had a mother complex. In his first marriage he transferred his mother complex to his wife, you see — and then his sex turned to me. But when we mar-

постоянно у нас бывала. В конце концов, когда люди открыли мне глаза, Майлз вынужден был признаться.

Она демонстративно уселась на ручку его кресла. Ее бриджи были того же цвета, что и кресло, а в пышных волосах смешивались рыже-золотые и бледно-золотые пряди — покрасить так невозможно, подумал Джоэл. И никакой косметики на лице. Настоящая красавица...

Стелла все никак не могла прийти в себя от обрушившегося на нее открытия, а тут еще к Майлзу льнула новая девица, и это было невыносимо. Она увела Джоэла в спальню, где они, усевшись на разных концах широкой кровати, продолжали разговор. Гости по пути в ванную заглядывали к ним и отпускали шуточки, но Стелла, изливая душу, не обращала на них внимания. Немного погодя в дверь просунул голову Майлз.

— Бесполезно пытаться объяснить Джоэлу за полчаса то, чего я сам не понимаю, а доктор сказал, чтобы понять все это, нужно не меньше года.

Стелла продолжала говорить, будто Майлза тут и не было. Она любит Майлза, сказала она, несмотря ни на что, она всегда была ему верна.

— Психоаналитик сказал Майлзу, что у него материнский комплекс. Сначала Майлз перенес его на свою первую жену, и тогда его сексуальные порывы обратились на меня. Но когда он

ried the thing repeated itself — he transferred his mother complex to me and all his libido turned towards this other woman.'

Joel knew that this probably wasn't gibberish — yet it sounded like gibberish. He knew Eva Goebel; she was a motherly person, older and probably wiser than Stella, who was a golden child.

Miles now suggested impatiently that Joel come back with them since Stella had so much to say, so they drove out to the mansion in Beverly Hills. Under the high ceilings the situation seemed more dignified and tragic. It was an eerie bright night with the dark very clear outside of all the windows and Stella all rose-gold raging and crying around the room. Joel did not quite believe in picture actresses' grief. They have other preoccupations — they are beautiful rose-gold figures blown full of life by writers and directors, and after hours they sit around and talk in whispers and giggle innuendoes, and the ends of many adventures flow through them.

Sometimes he pretended to listen and instead thought how well she was got up — sleek breeches with a matched set of legs in them, an Italian-coloured sweater with a little high neck, and a short brown chamois coat. He couldn't decide whether she was an imitation of an English lady or an English lady was an imitation of her. She hovered

женился на мне, все повторилось: материнский комплекс он перенес на меня, а либидо — на эту женщину.

Джоэл понимал, что, возможно, это вовсе не такой уж бред, и тем не менее... Он был знаком с Евой Гобел — настоящий материнский тип: она и старше и мудрее Стеллы, прелестного балованного ребенка.

Майлз сердито предложил, чтобы Джоэл поехал к ним, раз уж Стелле надо так много ему рассказать, и они поехали в особняк на Беверли-Хиллз. Там, под высокими потолками, вся история предстала более трагической и благородной. Вечер был светлый и жутковатый, за окнами висел прозрачный сумрак, и золотисто-розовую тенью, с рыданиями, металась по комнате Стелла. Джоэл не очень верил в горе киноактрис. Им предназначено другое: красивые золотисто-розовые статуэтки, на какие-то часы они оживают по воле сценаристов и режиссеров, а после съемок шепчутся, и хихикают, и сплетничают обо всем на свете.

Он то слушал Стеллу, то притворялся, будто слушает, а сам любовался, как она одета: бриджи в обтяжку четко обрисовывают линии стройных ног, пастельных тонов итальянский свитер с высоким воротом, коричневая замшевая курточка. Он никак не мог решить, она ли подделка под английскую леди или английские

somewhere between the realest of realities and the most blatant of impersonations.

‘Miles is so jealous of me that he questions everything I do,’ she cried scornfully. ‘When I was in New York I wrote him that I’d been to the theatre with Eddie Baker. Miles was so jealous he phoned me ten times in one day.’

‘I was wild,’ Miles snuffled sharply, a habit he had in times of stress. ‘The analyst couldn’t get any results for a week.’

Stella shook her head despairingly.

‘Did you expect me just to sit in the hotel for three weeks?’

‘I don’t expect anything. I admit that I’m jealous. I try not to be. I worked on that with Dr Bridgebane, but it didn’t go any good. I was jealous of Joel this afternoon when you sat on the arm of his chair.’

‘You were?’ She started up. ‘You were! Wasn’t there somebody on the arm of your chair? And did you speak to me for two hours?’

‘You were telling your troubles to Joel in the bedroom.’

‘When I think that that woman’ — she seemed to believe that to omit Eva Goebel’s name would be to lessen her reality — ‘used to come here—’

леди — подделка под нее. Она балансировала на самой грани доподлинной подлинности и нагло-го лицедейства.

— Майлз так меня ревнует, что следит за каждым моим шагом! — с презрением бросила она. — Я написала ему из Нью-Йорка, что ходила в театр с Эдди Бейкером, и он с ума сошел от ревности, звонил мне десять раз на дню.

— Я совсем обезумел. — Майлз засопел, как всегда в минуты волнения. — Психиатр тогда целую неделю бился со мной, и все впустую.

Стелла в отчаянии покачала головой.

— А ты ждал, что я три недели буду безвыходно сидеть в номере?

— Ничего я не ждал. Ну да, я ревнив. Я стараюсь не ревновать. Доктор Бриджбейн проводил со мной специальные сеансы, но ничего не вышло. Сегодня я ревновал тебя к Джоэлу, когда ты села на ручку его кресла.

— Ты ревновал?! — вспыхнула Стелла. — Ревновал! А у тебя на ручке кресла никто не сидел? И ты сказал мне за два часа хоть одно слово?

— Но ты была в спальне с Джоэлом. Жаловалась ему.

— Как только я вспомню, что эта женщина... — Стелле, как видно, казалось, что, не про-износя имени Евы Гобел, она тем самым вычеркивает ее из реальной жизни, — все время здесь бывала!

‘All right — all right,’ said Miles wearily. ‘I’ve admitted everything and I feel as bad about it as you do.’

Turning to Joel he began talking about pictures, while Stella moved restlessly along the far walls, her hands in her breeches pockets.

‘They’ve treated Miles terribly,’ she said, coming suddenly back into the conversation as if they’d never discussed her personal affairs. ‘Dear, tell him about old Beltzer trying to change your picture.’

As she stood hovering protectively over Miles, her eyes flashing with indignation in his behalf, Joel realized that he was in love with her. Stifled with excitement he got up to say good night.

With Monday the week resumed its workaday rhythm, in sharp contrast to the theoretical discussions, the gossip and scandal of Sunday; there was the endless detail of script revision — ‘Instead of a lousy dissolve, we can leave her voice on the sound track and cut to a medium shot of the taxi from Bell’s angle or we can simply pull the camera back to include the station, hold it a minute, and then pan to the row of taxis’ — by Monday afternoon Joel had again forgotten that people whose business was to provide entertainment were ever privileged to be entertained. In

— Ну хорошо, хорошо, — устало сказал Майлз. — Я ведь во всем признался, и мне не легче, чем тебе.

Он повернулся к Джоэлу и стал говорить о фильмах, а Стелла, сунув руки в карманы бриджей, беспокойно расхаживала взад и вперед в дальнем конце гостиной.

— Они обошлись с Майлзом возмутительно, — неожиданно вмешалась Стелла, как будто и не было никакого разговора о ее собственных проблемах. — Расскажи Джоэлу, как этот Белтцер хочет переkreпить твой фильм.

Глаза Стеллы сверкали негодованием, она склонилась над Майлзом, словно хотела его защитить, — и Джоэл понял, что любит ее. От волнения у него захватило дух, он встал и попрощался.

В понедельник, резким контрастом с воскресными пересудами, сплетнями и семейными драмами, неделя вновь обрела свой рабочий ритм; сценарий без конца резали, переделывали, подгоняли: «К черту этот дурацкий наплыв! Оставим ее голос за кадром и дадим средний план от Белла или общий вид: просто вокзал, а потом камера панорамирует вереницу такси...» К середине дня в понедельник Джоэл уже снова забыл, что людям, поставляющим развлечения, позволено развлекаться самим. Кэлменам он позвонил вечером. Он спросил Майлза, но к телефону подошла Стелла.

the evening he phoned Miles's house. He asked for Miles but Stella came to the phone.

'Do things seem better?'

'Not particularly. What are you doing next Saturday evening?'

'Nothing.'

'The Perrys are giving a dinner and theatre party and Miles won't be here — he's flying to South Bend to see the Notre Dame — California game. I thought you might go with me in his place.'

After a long moment Joel said:

'Why — surely. If there's a conference I can't make dinner but I can get to the theatre.'

'Then I'll say we can come.'

Joel walked his office. In view of the strained relations of the Calmans, would Miles be pleased, or did she intend that Miles shouldn't know of it? That would be out of the question — if Miles didn't mention it Joel would. But it was an hour or more before he could get down to work again.

Wednesday there was a four-hour wrangle in a conference room crowded with planets and nebulae of cigarette smoke. Three men and a woman paced the carpet in turn, suggesting or condemning, speaking sharply or persuasively, confidently or despairingly. At the end Joel lingered to talk to Miles.

— Ну как у вас, полегче?

— Не очень. Что вы делаете в субботу вечером?

— Ничего.

— Перри дают обед, а оттуда поедут в театр. Майлза не будет — улетает в Саут-Бенд, на матч «Нотр-Дам» — «Калифорния». Вы не могли бы составить мне компанию?

Джоэл ответил не сразу:

— Ну конечно, с удовольствием. Только если затянут совещание, к обеду я не успею, а в театр приду.

— Тогда я скажу, что мы будем.

Положив трубку, Джоэл долго ходил по кабинету. Понравится ли это Майлзу, особенно если иметь в виду, что у них сейчас происходит? Или она не хочет, чтобы Майлз знал? Нет, это невозможно, — если Майлз не заведет разговор о субботе, Джоэл сам ему скажет. Однако целый час, если не больше, он не мог приняться за работу.

В среду в конференц-зале четыре часа шло совещание. Трое мужчин и одна женщина по очереди мерили шагами ковер, предлагая или отвергая — резко или деликатно, уверенно или безнадежно, а над их головами плыли спиралями туманности и созвездия табачного дыма. Когда обсуждение кончилось, Джоэл подошел к Майлзу.

The man was tired — not with the exaltation of fatigue but life-tired, with his lids sagging and his beard prominent over the blue shadows near his mouth.

‘I hear you’re flying to the Notre Dame game.’
Miles looked beyond him and shook his head.

‘I’ve given up the idea.’

‘Why?’

‘On account of you.’ Still he did not look at Joel.

‘What the hell, Miles?’

‘That’s why I’ve given it up.’ He broke into a perfunctory laugh at himself. ‘I can’t tell what Stella might do just out of spite — she’s invited you to take her to the Perrys’, hasn’t she? I wouldn’t enjoy the game.’

The fine instinct that moved swiftly and confidently on the set, muddled so weakly and helplessly through his personal life.

‘Look, Miles,’ Joel said frowning. ‘I’ve never made any passes whatsoever at Stella. If you’re really seriously cancelling your trip on account of me, I won’t go to the Perrys’ with her. I won’t see her. You can trust me absolutely.’

Miles looked at him, carefully now.

Вот кто действительно устал — не от споров, а просто от жизни: набрякшие веки, синие тени под скулами, где пробивается щетина.

— Говорят, вы летите на матч?

Майлз посмотрел куда-то мимо и покачал головой.

— Я раздумал.

— Отчего же?

— Из-за вас. — Он по-прежнему не смотрел на Джоэла.

— Да господь с вами, Майлз!

— Из-за вас я отказался от поездки. — И он усмехнулся — словно сам над собой. — Попробуй угадай, что натворит Стелла мне назло — она ведь пригласила вас пойти с ней к Перри? Матч не доставит мне никакого удовольствия.

Поразительная интуиция, которая никогда не изменяла ему на съемочной площадке, отказывала в личной жизни, тут он был слаб и беспомощен.

— Послушайте, Майлз, — сказал Джоэл, нахмурившись. — У меня и в мыслях ничего нет и не было. Если вы правда хотите отменить поездку из-за меня, я не пойду со Стеллой к Перри и не буду с ней видаться. Можете мне верить.

Только тут Майлз посмотрел на него. Очень внимательно.

‘Maybe.’ He shrugged his shoulders. ‘Anyhow there’d just be somebody else. I wouldn’t have any fun.’

‘You don’t seem to have much confidence in Stella. She told me she’d always been true to you.’

‘Maybe she has.’ In the last few minutes several more muscles had sagged around Miles’s mouth. ‘But how can I ask anything of her after what’s happened? How can I expect her—’ He broke off and his face grew harder as he said, ‘I’ll tell you one thing, right or wrong and no matter what I’ve done, if I ever had anything on her I’d divorce her. I can’t have my pride hurt — that would be the last straw.’

His tone annoyed Joel, but he said:

‘Hasn’t she calmed down about the Eva Goebel thing?’

‘No.’ Miles snuffled pessimistically. ‘I can’t get over it either.’

‘I thought it was finished.’

‘I’m trying not to see Eva again, but you know it isn’t easy just to drop something like that — it isn’t some girl I kissed last night in a taxi. The psychoanalyst says—’

‘I know,’ Joel interrupted. ‘Stella told me.’ This was depressing. ‘Well, as far as I’m concerned if you go to the game I won’t see Stella. And I’m sure Stella has nothing on her conscience about anybody.’

— Допустим. — Он пожал плечами. — Не вы, так найдется кто-то другой. Мне будет не до развлечений.

— Вы, видно, не слишком доверяете Стелле? А она сказала мне, что всегда была вам верна.

— Может, и была. — За последние несколько минут складки вокруг рта у Майлза залегли еще глубже. — Но после того, что случилось, разве я смогу что-то от нее требовать? Разве я имею право... — Он умолк, потом заговорил снова, и лицо его стало жестким. — Скажу вам одно. Что я сам натворил — не важно, но, если я узнаю что-нибудь про Стеллу, я с ней разведусь. Не могу я поступиться своей гордостью, это было бы последней каплей.

Джоэла раздражал его тон, но он сказал:

— А как с Евой Гобел? Стелла успокоилась?

— Нет. — Майлз мрачно засопел. — И для меня это тоже не просто.

— Мне казалось, там все кончено...

— Я стараюсь не встречаться с Евой, но, знаете, не так легко порвать сразу — она ведь не девчонка, с которой целуешься в такси. Психиатр говорит...

— Да-да, — перебил Джоэл, — Стелла мне рассказывала. — Излияния Майлза наводили тоску. — Так вот, что касается меня, если вы улетите на матч, я со Стеллой не встречусь. И уверен, что ее совесть чиста.

‘Maybe not,’ Miles repeated listlessly. ‘Anyhow I’ll stay and take her to the party. Say,’ he said suddenly, ‘I wish you’d come too. I’ve got to have somebody sympathetic to talk to. That’s the trouble — I’ve influenced Stella in everything. Especially I’ve influenced her so that she likes all the men I like — it’s very difficult.’

‘It must be,’ Joel agreed.

IV

Joel could not get to the dinner. Self-conscious in his silk hat against the unemployment, he waited for the others in front of the Hollywood Theatre and watched the evening parade: obscure replicas of bright, particular picture stars, spavined men in polo coats, a stomping dervish with the beard and staff of an apostle, a pair of chic Filipinos in collegiate clothes, reminder that this corner of the Republic opened to the seven seas, a long fantastic carnival of young shouts which proved to be a fraternity initiation. The line split to pass two smart limousines that stopped at the kerb.

— Может быть, может быть, — вяло повторил Майлз... — Тем не менее я остаюсь и иду с ней на обед... А знаете, — вдруг сказал он, — пойдите и вы с нами! Мне нужно, чтобы рядом был кто-то симпатичный мне, с кем я могу поговорить. В этом ведь и беда: Стелла полностью находится под моим влиянием, и все, кто нравятся мне, нравятся и ей тоже. В особенности мужчины. Очень все это сложно.

— Да, должно быть, — согласился Джоэл.

IV

На обед Джоэл не поспел. Стыдясь своего цилиндра в это безвременье, когда кругом было столько безработных, он ждал Перри и их гостей перед Голливудским театром и разглядывал вечерний парад: бездарные копии блестящих кинозвезд, несостоявшиеся киногерои в спортивных пиджаках, шаркающий дервиш с апостольской бородой и посохом, парочка франтоватых филиппинцев в модных костюмах как напоминание о том, что этот штат открыт всем морям, шумная процессия молодежи в причудливых нарядах — как выяснилось, посвящение в какое-то братство. Шествие распалось, пропущенная два роскошных лимузина, которые остановились у тротуара.

There she was, in a dress like ice-water, made in a thousand pale-blue pieces, with icicles trickling at the throat. He started forward.

‘So you like my dress?’

‘Where’s Miles?’

‘He flew to the game after all. He left yesterday morning — at least I think—’ She broke off. ‘I just got a telegram from South Bend saying that he’s starting back. I forgot — you know all these people?’

The party of eight moved into the theatre.

Miles had gone after all and Joel wondered if he should have come. But during the performance, with Stella a profile under the pure grain of light hair, he thought no more about Miles. Once he turned and looked at her and she looked back at him, smiling and meeting his eyes for as long as he wanted. Between the acts they smoked in the lobby and she whispered:

‘They’re all going to the opening of Jack Johnson’s night club — I don’t want to go, do you?’

‘Do we have to?’

‘I suppose not.’ She hesitated. ‘I’d like to talk to you. I suppose we could go to our house — if I were only sure—’

Again she hesitated and Joel asked:

‘Sure of what?’

Вот она! В платье, сотканном из тысячи бледно-голубых бликов — словно в струе студеной воды, а на шее переливаются сосульки. Он порывисто шагнул к ней.

— Ну как? Нравится вам мое платье?

— Где Майлз?

— Он все-таки улетел на матч. Вчера утром... Во всяком случае, надеюсь... — Она не договорила. — Только что пришла телеграмма из Саут-Бенда, что он вылетает обратно. Ах да — вы знакомы с моими друзьями?

Вся компания направилась в театр.

Значит, Майлз все-таки улетел. Джоэл терзался сомнениями, правильно ли он сделал, что пришел. Но когда начался спектакль, он позабыл о Майлзе — профиль Стеллы и светлая россыпь ее волос были совсем рядом. Один раз он повернулся к ней, и она посмотрела на него, улыбаясь, и не отвела глаз. В антракте они курили в фойе, и она шепнула ему:

— Они все поедут на открытие ночного клуба Джека Джонсона... Мне не хочется, а вам?

— Это обязательно?

— По-моему, нет. — Она замялась. — Мне хотелось бы поговорить с вами. Может быть, поедем к нам? Если бы только я была уверена...

Она снова умолкла, и Джоэл спросил:

— В чем?

‘Sure that — oh, I’m haywire I know, but how can I be sure Miles went to the game?’

‘You mean you think he’s with Eva Goebel?’

‘No, not so much that — but supposing he was here watching everything I do. You know Miles does odd things sometimes. Once he wanted a man with a long beard to drink tea with him and he sent down to the casting agency for one, and drank tea with him all afternoon.’

‘That’s different. He sent you a wire from South Bend — that proves he’s at the game.’

After the play they said good night to the others at the kerb and were answered by looks of amusement. They slid off along the golden garish thoroughfare through the crowd that had gathered around Stella.

‘You see he could arrange the telegrams,’ Stella said, ‘very easily.’

That was true. And with the idea that perhaps her uneasiness was justified, Joel grew angry: if Miles had trained a camera on them he felt no obligations towards Miles. Aloud he said:

‘That’s nonsense.’

There were Christmas trees already in the shop windows and the full moon over the boulevard was only a prop, as scenic as the giant boudoir lamps

— Уверена, что... Ну да, я психопатка, но я вовсе не уверена, что Майлз действительно поехал на матч.

— Вы думаете, он у Евы Гобел?

— Да нет... но что, если он здесь и следит за мной? Знаете, Майлз способен на очень странные поступки. Как-то он пожелал пить чай с каким-нибудь человеком, у которого длинная борода, и потребовал, чтобы бюро по найму актеров прислало ему такого длиннобородого, а потом пил с ним чай до вечера.

— Ну, это совсем другое. Он же прислал вам телеграмму из Саут-Бенда. Значит, он на матче.

Выйдя из театра, они попрощались со своими спутниками, что было встречено веселыми взглядами. Машина вырулила из толпы, собравшейся вокруг Стеллы, и покатила по залитой золотым светом улице.

— Он ведь мог договориться об этих телеграммах, — сказала Стелла. — Это очень просто.

Что ж, вполне вероятно, и при мысли, что ее тревога не лишена основания, Джоэл рассердился: если Майлз, так сказать, решил держать их в объективе кинокамеры, то он снимает с себя все обязательства. Вслух он сказал:

— Чепуха.

В витринах магазинов уже сверкали рождественские елочки, и полная луна над бульваром казалась бутафорской, как и огромные фонари

of the corners. On into the dark foliage of Beverly Hills that flamed as eucalyptus by day, Joel saw only the flash of a white face under his own, the arc of her shoulder. She pulled away suddenly and looked up at him.

‘Your eyes are like your mother’s,’ she said. ‘I used to have a scrap-book full of pictures of her.’

‘Your eyes are like your own and not a bit like any other eyes,’ he answered.

Something made Joel look out into the grounds as they went into the house, as if Miles were lurking in the shrubbery. A telegram waited on the hall table. She read aloud:

Chicago. Home tomorrow night. Thinking of you. Love. Miles

‘You see,’ she said, throwing the slip back on the table, ‘he could easily have faked that.’

She asked the butler for drinks and sandwiches and ran upstairs, while Joel walked into the empty reception rooms. Strolling about he wandered to the piano where he had stood in disgrace two Sundays before.

‘Then we could put over,’ he said aloud, ‘a story of divorce, the younger generation, and the Foreign Legion.’

His thoughts jumped to another telegram.

‘You were one of the most agreeable people at our party—’

на перекрестках. На Беверли-Хиллз темная листва тускло поблескивала, будто эвкалипты под солнцем, но Джоэл видел лишь отсвет белого лица совсем рядом и плавный изгиб плеча. Она вдруг отстранилась и посмотрела на него.

— У вас глаза вашей матери, — сказала она. — Когда-то у меня был целый альбом ее снимков.

— А у вас глаза — только ваши, других таких нет, — ответил он.

Когда они входили в дом, Джоэл почему-то оглянулся, будто ему почудилось, что Майлз притаился в кустах. На столике в передней лежала телеграмма. Стелла прочла ее вслух:

— «Чикаго. Буду завтра вечером. Думаю о тебе. Люблю. Майлз».

— Вот видите, — сказала она, бросая телеграмму обратно на столик, — он легко мог все это подстроить.

Она распорядилась, чтобы дворецкий принес напитки и сэндвичи, и поднялась наверх, а Джоэл прошелся по пустынным гостиным. Вот и рояль, возле которого он, опозоренный, стоял в позапрошлом воскресенье.

— Итак, развод, — сказал он громко, — молодая пара, а он после развода да в Африку...

Он вспомнил о другой телеграмме:

«Вы были одним из самых приятных наших гостей...»

An idea occurred to him. If Stella's telegram had been purely a gesture of courtesy then it was likely that Miles had inspired it, for it was Miles who had invited him. Probably Miles had said:

'Send him a wire — he's miserable — he thinks he's queered himself.'

It fitted in with 'I've influenced Stella in everything. Especially I've influenced her so that she likes all the men I like.' A woman would do a thing like that because she felt sympathetic — only a man would do it because he felt responsible.

When Stella came back into the room he took both her hands.

'I have a strange feeling that I'm a sort of pawn in a spite game you're playing against Miles,' he said.

'Help yourself to a drink.'

'And the odd thing is that I'm in love with you anyhow.'

The telephone rang and she freed herself to answer it.

'Another wire from Miles,' she announced. 'He dropped it, or it says he dropped it, from the aeroplane at Kansas City.'

'I suppose he asked to be remembered to me.'

'No, he just said he loved me. I believe he does. He's so very weak.'

'Come sit beside me,' Joel urged her.

А что, если телеграмма Стеллы — обычный жест вежливости, вдруг подумал он. Скорее всего, ее надоумил Майлз, ведь это он пригласил его. Может быть, Майлз сказал:

«Пошли ему телеграмму — у него сейчас скверно на душе, ему кажется, что он сделал из себя посмешище».

Похоже на то... «Стелла полностью находится под моим влиянием, и все, кто нравится мне, нравятся и ей тоже, в особенности мужчины». Женщина послала бы телеграмму из сострадания, мужчина счел это своим долгом.

Стелла вошла в гостиную, и он взял ее за руки.

— У меня странное чувство, мне все кажется, что я просто пешка, которой вы сделали ход против Майлза, — сказал он.

— Налейте себе чего-нибудь.

— А самое странное, что я все равно влюблен в вас.

Зазвонил телефон, она отняла руку и взяла трубку.

— Еще одна телеграмма от Майлза, — объявила она. — Он отправил ее — во всяком случае, так там сказано — с самолета, из Канзас-Сити.

— И наверное, просит передать поклон мне?

— Нет, он только пишет, что любит меня. И я верю, что любит. Он такой слабый.

— Сядьте рядом со мной, — попросил Джоэл.

It was early. And it was still a few minutes short of midnight a half-hour later, when Joel walked to the cold hearth, and said tersely:

‘Meaning that you haven’t any curiosity about me?’

‘Not at all. You attract me a lot and you know it. The point is that I suppose I really do love Miles.’

‘Obviously.’

‘And tonight I feel uneasy about everything.’

He wasn’t angry — he was even faintly relieved that a possible entanglement was avoided. Still as he looked at her, the warmth and softness of her body thawing her cold blue costume, he knew she was one of the things he would always regret.

‘I’ve got to go,’ he said. ‘I’ll phone a taxi.’

‘Nonsense — there’s a chauffeur on duty.’

He winced at her readiness to have him go, and seeing this she kissed him lightly and said:

‘You’re sweet, Joel.’

Then suddenly three things happened: he took down his drink at a gulp, the phone rang loud through the house, and a clock in the hall struck in trumpet notes.

Nine — ten — eleven — twelve —

Время было не позднее. И полчаса спустя, когда Джоэл встал и подошел к холодному камину, до полуночи оставалось еще несколько минут.

— Значит, я вам совсем не интересен?

— Почему же? Вы мне очень нравитесь, и вы это знаете. Но только, кажется, я действительно люблю Майлза.

— Вне всякого сомнения.

— И я почему-то очень нервничаю сегодня.

Он не сердился — скорее, почувствовал облегчение; случись иначе, все слишком бы осложнилось. Но, глядя на нее, на ее теплое нежное тело, растапливающее холодную голубизну платья, он понял, что будет сожалеть о ней всю свою жизнь.

— Мне пора, — сказал он. — Я позвоню и закажу такси.

— Зачем же? У нас есть ночной шофер.

Он поежился — уж очень легко она его отпускает, — и, заметив это, она поцеловала его легким поцелуем и сказала:

— Вы милый, Джоэл.

Он залпом осушил бокал, и тут же громко, на весь дом, зазвонил телефон и торжественно забили часы в холле:

Девять... десять... одиннадцать... двенадцать...

V

It was Sunday again. Joel realized that he had come to the theatre this evening with the work of the week still hanging about him like cerements. He had made love to Stella as he might attack some matter to be cleaned up hurriedly before the day's end. But this was Sunday — the lovely, lazy perspective of the next twenty-four hours unrolled before him — every minute was something to be approached with lulling indirection, every moment held the germ of innumerable possibilities. Nothing was impossible — everything was just beginning. He poured himself another drink.

With a sharp moan, Stella slipped forward inertly by the telephone. Joel picked her up and laid her on the sofa. He squirted soda-water on a handkerchief and slapped it over her face. The telephone mouthpiece was still grinding and he put it to his ear.

‘—the plane fell just this side of Kansas City. The body of Miles Calman has been identified and—’

He hung up the receiver.

‘Lie still,’ he said, stalling, as Stella opened her eyes.

‘Oh, what’s happened?’ she whispered. ‘Call them back. Oh, what’s happened?’

‘I’ll call them right away. What’s your doctor’s name?’

‘Did they say Miles was dead?’

V

И снова настало воскресенье. Джоэл подумал, что пошел вечером в театр, еще не сбросив с себя гнета будней, и Стеллы домогался так настойчиво, будто спешил до конца дня покончить и с этим делом. Но теперь наступило воскресенье — впереди двадцать четыре упоительных праздных часа, каждая минута манит тайным обещанием, в каждом мгновении таятся бесчисленные возможности. И нет ничего недостижимого, все только начинается. Он налил себе еще один бокал.

Стелла вскрикнула и бессильно опустилась на пол возле телефона. Джоэл подхватил ее и перенес на диван. Он смочил носовой платок содовой водой и приложил ей к лицу. Из телефонной трубки доносилось какое-то бормотание, и он взял ее.

— ...самолет упал сразу после вылета из Канзас-Сити. Тело Майлза Кэлмена опознано и...

Он повесил трубку. Стелла открыла глаза.

— Не поднимайтесь, — сказал он, стараясь протянуть время.

— О господи, что случилось? — прошептала она. — Позвоните им! Господи, что случилось?

— Сейчас я позвоню. Кто ваш доктор?

— Они сказали — Майлз погиб?!

‘Lie quiet — is there a servant still up?’

‘Hold me — I’m frightened.’

He put his arm around her.

‘I want the name of your doctor,’ he said sternly. ‘It may be a mistake but I want someone here.’

‘It’s Dr — Oh, God, is Miles dead?’

Joel ran upstairs and searched through strange medicine cabinets for spirits of ammonia. When he came down Stella cried:

‘He isn’t dead — I know he isn’t. This is part of his scheme. He’s torturing me. I know he’s alive. I can feel he’s alive.’

‘I want to get hold of some close friend of yours, Stella. You can’t stay here alone tonight.’

‘Oh, no,’ she cried. ‘I can’t see anybody. You stay, I haven’t got any friend.’ She got up, tears streaming down her face. ‘Oh, Miles is my only friend. He’s not dead — he can’t be dead. I’m going there right away and see. Get a train. You’ll have to come with me.’

‘You can’t. There’s nothing to do tonight. I want you to tell me the name of some woman I can call: Lois? Joan? Carmel? Isn’t there somebody?’

Stella stared at him blindly.

‘Eva Goebel was my best friend,’ she said.

— Лежите тихо... Кто-нибудь из слуг еще не спит?

— Обнимите меня, я боюсь!

Он обнял ее за плечи.

— Скажите мне фамилию вашего доктора, — твердо повторил он. — Может быть, это ошибка, но надо, чтобы кто-то был здесь.

— Мой доктор... О боже, неужели Майлз погиб?!

Джоэл кинулся наверх и стал рыться в незнакомых аптечках в поисках нашатырного спирта. Когда он вернулся, Стелла рыдала.

— Нет-нет, он жив! Я знаю, он жив! Он это все придумал. Он нарочно мучит меня. Он жив, я знаю. Я чувствую, что он жив.

— Кому из ваших близких друзей позвонить, Стелла? Вам нельзя оставаться одной.

— Нет! Нет! Я не хочу никого видеть. Оставайтесь вы со мной. У меня нет друзей. — Она встала, слезы заливали ее лицо. — Майлз — мой единственный друг. Он не умер, он не может умереть! Я поеду туда, я должна сама все увидеть. Узнайте, когда поезд. И вы поедете со мной.

— Но сейчас ночь, ничего нельзя сделать. Скажите мне, кому из ваших подруг я могу позвонить: Лоис? Джоун? Кармеле? Кому?

Стелла подняла на него невидящие глаза.

— Моей лучшей подругой была Ева Гобел, — сказала она.

Joel thought of Miles, his sad and desperate face in the office two days before. In the awful silence of his death all was clear about him. He was the only American-born director with both an interesting temperament and an artistic conscience. Meshed in an industry, he had paid with his ruined nerves for having no resilience, no healthy cynicism, no refuge — only a pitiful and precarious escape.

There was a sound at the outer door — it opened suddenly, and there were footsteps in the hall.

‘Miles!’ Stella screamed. ‘Is it you, Miles? Oh, it’s Miles.’

A telegraph boy appeared in the doorway.

‘I couldn’t find the bell. I heard you talking inside.’

The telegram was a duplicate of the one that had been phoned. While Stella read it over and over, as though it were a black lie, Joel telephoned. It was still early and he had difficulty getting anyone; when finally he succeeded in finding some friends he made Stella take a stiff drink.

‘You’ll stay here, Joel,’ she whispered, as though she were half-asleep. ‘You won’t go away. Miles liked you — he said you—’ She shivered vi-

Джоэл вспомнил, как они с Майлзом говорили на студии два дня назад, увидел перед собой его отчаянное, печальное лицо. В страшном безмолвии смерти все встало на свои места. Он был единственным режиссером-американцем, соединившим в себе совесть художника с незаурядным характером. Зажатый в тисках киномашины, он расплачивался своим душевным здоровьем за то, что не шел на компромиссы, не сумел выработать в себе трезвый цинизм, не смог найти себе убежище, а если оно у него и было, то жалкое и ненадежное.

У парадной двери что-то стукнуло, потом она отворилась. В холле послышались шаги.

— Майлз! — пронзительно крикнула Стелла. — Это ты, Майлз? Это Майлз, Майлз!

На пороге появился рассыльный с телеграфа.

— Я не нашел звонка. Но вы тут разговаривали.

Телеграмма точно повторяла то, что передали по телефону. Стелла перечитывала ее снова и снова, будто хотела убедиться, что это какая-то страшная чушь, а Джоэл тем временем звонил по телефону. Все еще где-то веселились, и никого не было дома, но в конце концов он разыскал каких-то знакомых, потом заставил Стеллу выпить крепкого виски.

— Вы должны остаться, Джоэл, — шепнула она, словно в полусне. — Не уходите. Майлзу вы так нравились... он говорил, что вы... — Она

olently, 'Oh, my God, you don't know how alone I feel.' Her eyes closed, 'Put your arms around me. Miles had a suit like that.' She started bolt upright. 'Think of what he must have felt. He was afraid of almost everything, anyhow.'

She shook her head dazedly. Suddenly she seized Joel's face and held it close to hers.

'You won't go. You like me — you love me, don't you? Don't call up anybody. Tomorrow's time enough. You stay here with me tonight.'

He stared at her, at first incredulously, and then with shocked understanding. In her dark groping Stella was trying to keep Miles alive by sustaining a situation in which he had figured — as if Miles's mind could not die so long as the possibilities that had worried him still existed. It was a distraught and tortured effort to stave off the realization that he was dead.

Resolutely Joel went to the phone and called a doctor.

'Don't, oh, don't call anybody!' Stella cried. 'Come back here and put your arms around me.'

'Is Dr Bales in?'

'Joel,' Stella cried. 'I thought I could count on you. Miles liked you. He was jealous of you — Joel, come here.'

содрогнулась всем телом. — Боже мой, если бы вы только знали, как мне одиноко! — Глаза ее закрылись. — Обнимите меня, Джоэл. У Майлза был такой же костюм. — Она резко выпрямилась. — Как подумаю, какой ужас он должен был испытать! Он так всего боялся.

Она помотала головой, потом вдруг сжала лицо Джоэла в ладонях и притянула к себе.

— Нет-нет, ты не уйдешь! Я ведь нравлюсь тебе — ты любишь меня... Любишь? Не звони никому. Завтра еще будет время. А сейчас останься, не уходи от меня!

Он смотрел на нее, не веря своим ушам, а потом вдруг все понял и ужаснулся. Быть может, сама того не сознавая, Стелла тщила вернуть Майлза к жизни, сохраняя ту ситуацию, в которой он был главным действующим лицом, — ей словно казалось, что сознание его не угаснет, пока не исчезнет причина его тревоги. Это была безумная, мучительная попытка отсрочить ту минуту, когда придется смириться с реальностью его смерти.

Джоэл решительно взял трубку и позвонил доктору.

— Не надо, не надо, не звони никому! — закричала Стелла. — Иди ко мне, обними меня!

— Доктор Бейлз дома?

— Джоэл! — рыдала Стелла. — Я думала, что могу положиться на тебя. Ты так нравился Майлзу. Он ревновал меня к тебе... Джоэл, иди же ко мне!

Ah then — if he betrayed Miles she would be keeping him alive — for if he were really dead how could he be betrayed?

‘—has just had a very severe shock. Can you come at once, and get hold of a nurse?’

‘Joel!’

Now the door-bell and the telephone began to ring intermittently, and automobiles were stopping in front of the door.

‘But you’re not going,’ Stella begged him. ‘You’re going to stay, aren’t you?’

‘No,’ he answered. ‘But I’ll be back, if you need me.’

Standing on the steps of the house which now hummed and palpitated with the life that flutters around death like protective leaves, he began to sob a little in his throat.

‘Everything he touched he did something magical to,’ he thought. ‘He even brought that little gamin alive and made her a sort of masterpiece.’

And then:

‘What a hell of a hole he leaves in this damn wilderness — already!’

And then with a certain bitterness,

‘Oh, yes, I’ll be back — I’ll be back!’

...Значит, если он предаст Майлза, ей удастся сохранить иллюзию, что он жив... но ведь он погиб, его уже невозможно предать!

— ...страшное потрясение. Только что. Не могли бы вы приехать сейчас же и привезти сделку?

— Джоэл!

Теперь дверной звонок и телефон звонили беспрерывно, а к парадному уже подъезжали автомобили.

— Но ты не уйдешь! — молила Стелла. — Ведь ты останешься, скажи, что останешься!

— Нет, я не останусь, — ответил он. — Но я вернусь, если буду нужен.

На ступеньках крыльца Джоэл остановился. Дом теперь гудел и пульсировал жизнью, которая всегда трепещет вокруг смерти, как защитная завеса листвы, и в горле у Джоэла забилося глухое рыдание.

«Он был волшебником. Он сотворял чудо, к чему бы ни прикоснулся, — подумал он. — Он преобразил даже эту маленькую статисточку и сделал из нее подлинное произведение искусства».

Потом:

«Как будет не хватать его в этой пустыне... Уже не хватает!»

И потом, не без горечи:

«Я-то вернусь... я вернусь».

On your own

I

The third time he walked around the deck Evelyn stared at him. She stood leaning against the bulwark and when she heard his footsteps again she turned frankly and held his eyes for a moment until his turned away, as a woman can when she has the protection of other men's company, Barlotto, playing ping-pong with Eddie O'Sullivan, noticed the encounter.

"Aha!" he said, before the stroller was out of hearing, and when the rally was finished: "Then you're still interested even if it's not the German Prince."

"How do you know it's not the German Prince?" Evelyn demanded.

"Because the German Prince is the horse-faced man with white eyes. This one"—he took a passenger list from his pocket—"is either Mr George Ives, Mr Jubal Early Robbins and valet, or Mr Joseph Widdle with Mrs Widdle and six children."

Сама по себе

I

Когда он прошел по палубе в третий раз, Эвелина посмотрела на него. Она стояла, приклонясь к фальшборту, а потом, заслышав его шаги, откровенно повернулась и упорно глядела ему в глаза, пока он их не опустил: так порой делают женщины, чувствуя себя под защитой других мужчин. Барлотто, игравший в пинг-понг с Эдди О'Салливаном, заметил это.

— Ага! — сказал он, оторвавшись от игры, когда незнакомец еще не покинул пределов слышимости. — Значит, тебя интересуют не только немецкие принцы?

— Откуда ты знаешь, что он не принц? — спросила Эвелина.

— Знаю, потому что принц — тот белоглазый, с лошадиным лицом. А этот... — он извлек из кармана список пассажиров, — либо мистер Джордж Айвз, либо мистер Джубал Эрли Роббинс с камердинером, либо мистер Джозеф Уиддл с миссис Уиддл и шестью детьми.

It was a medium-sized German boat, five days westbound from Cherbourg. The month was February and the sea was dingy grey and swept with rain. Canvas sheltered all the open portions of the promenade deck, even the ping-pong table was wet.

K'tap K'tap K'tap K'tap. Barlotto looked like Valentino — since he got fresh in the rumba number she had disliked playing opposite him. But Eddie O'Sullivan had been one of her best friends in the company.

Subconsciously she was waiting for the solitary promenader to round the deck again but he didn't. She faced about and looked at the sea through the glass windows; instantly her throat closed and she held herself close to the wooden rail to keep her shoulders from shaking. Her thoughts rang aloud in her ears: "My father is dead — when I was little we would walk to town on Sunday morning, I in my starched dress, and he would buy the Washington paper and a cigar and he was so proud of his pretty little girl. He was always so proud of me — he came to New York to see me when I opened with the Marx Brothers and he told everybody in the hotel he was my father, even the elevator boys. I'm glad he did, it was so much pleasure for him, perhaps the best time he ever had since he was young. He would like it if he knew I was coming all the way from London."

Они плыли на небольшом немецком судне, пять дней тому назад отправившемся на запад из Шербура. Стоял февраль месяц, и море было грязно-серое, подернутое дождевой рябью. Над всеми открытыми участками прогулочной палубы натянули парусину, и даже стол для пинг-понга блестел от влаги.

Тик-пок, тик-пок. Барлотто внешне смахивал на Валентино; с тех пор как он позволил себе дерзость во время румбы, она не любила выходить с ним на сцену. Но Эдди О'Салливан оставался одним из ее ближайших друзей в труппе.

Подсознательно она ожидала, что незнакомец сделает по палубе еще один круг, но он больше не появился. Отвернувшись, она снова стала глядеть на море сквозь оконные стекла; вдруг горло у нее сжалось, и она приникла теснее к деревянному поручню, чтобы унять дрожь в плечах. В ушах у нее звенело: мой отец мертв... когда я была маленькой, мы гуляли по городу воскресным утром, я в накрахмаленном платице, и он покупал себе сигару и вашингтонскую газету и так гордился своей хорошенькой девочкой! Он всегда очень гордился мной... приезжал в Нью-Йорк посмотреть на меня, когда я открывала сезон с братьями Маркс, и всем в гостинице рассказывал, что он мой отец, даже мальчикам-лифтерам. И пускай, ведь это доставляло ему столько удовольствия: наверное, он с юношеских лет ничему так не радовался. Ему бы

“Game and set,” said Eddie.

She turned around.

“We’ll go down and wake up the Barneys and have some bridge, eh?” suggested Barlotto.

Evelyn led the way, pirouetting once and again on the moist deck, then breaking into an “Off to Buffalo” against a sudden breath of wet wind. At the door she slipped and fell inward down the stair, saved herself by a perilous one-arm swing — and was brought up against the solitary promenader. Her mouth fell open comically — she balanced for a moment. Then the man said, “I beg your pardon,” in an unmistakably southern voice. She met his eyes again as the three of them passed on.

The man picked up Eddie O’Sullivan in the smoking room the next afternoon.

“Aren’t you the London cast of Chronic Affection?”

“We were until three days ago. We were going to run another two weeks but Miss Lovejoy was called to America so we closed.”

“The whole cast on board?”

The man’s curiosity was inoffensive, it was a really friendly interest combined with a polite

понравилось, знай он, что я поехала к нему из такого далека, из самого Лондона.

— Партия, — сказал Эдди.

Она обернулась.

— Пойдем-ка разбудим Барни и сыграем в бридж, что ли, — предложил Барлотто.

Эвелина двинулась первой, время от времени совершая пируэты на мокрой палубе, потом, подхлестнутая порывом сырого ветра, запела «Дорогу в Буффало». У двери она поскользнулась, нырнула вниз, еле успев схватиться одной рукой за перила трапа и чудом удержавшись на ногах, — и буквально нос к носу столкнулась с давешним одиноким незнакомцем. Ее рот комично раскрылся; она с трудом восстановила равновесие. Потом мужчина сказал: «Прошу прощения», — по выговору в нем безошибочно угадывался южанин. Прежде чем разойтись, они снова встретились взглядами.

На следующий день, в курительном салоне, незнакомец спросил у Эдди О'Салливана:

— Кажется, вы и ваши друзья играли на лондонской сцене в «Хроническом недуге»?

— Да, три дня назад еще играли. До окончания контракта оставалось полмесяца, но мисс Лавджой вызвали в Америку, так что пришлось закрыться.

— И вся труппа теперь на борту?

Любопытство чужака было ненавязчивым, это был просто добродушный интерес с приме-

deference to the romance of the theatre. Eddie O'Sullivan liked him.

"Sure, sit down. No, there's only Barlotto, the juvenile, and Miss Lovejoy and Charles Barney, the producer, and his wife. We left in twenty-four hours — the others are coming on the Homeric."

"I certainly did enjoy seeing your show. I've been on a trip around the world and I turned up in London two weeks ago just ready for something American — and you had it."

An hour later Evelyn poked her head around the corner of the smoking-room door and found them there.

"Why are you hiding out on us?" she demanded. "Who's going to laugh at my stuff? That bunch of card sharps down there?"

Eddie introduced Mr George Ives. Evelyn saw a handsome, well-built man of thirty with a firm and restless face. At the corners of his eyes two pairs of fine wrinkles indicated an effort to meet the world on some other basis than its own. On his pan George Ives saw a rather small dark-haired girl of twenty-six, burning with a vitality that could only be described as "professional". Which is to say it was not amateur — it could never use itself up upon any one person or group. At moments it possessed her so entirely, turning every

сю вежливого уважения к романтике театра. Эдди О'Салливану новый собеседник показался приятным.

— Присаживайтесь, пожалуйста. Нет, здесь только Барлотто, наш красавчик, и мисс Лавджой, да еще Чарльз Барни, продюсер, вместе с женой. Мы уехали почти сразу же, а остальные вернутся на «Гомерике».

— Мне очень понравилось ваше представление. Я ездил по свету, две недели назад очутился в Лондоне — так хотелось чего-нибудь американского, и тут как раз вы.

Часом позже Эвелина заглянула в курительный салон и обнаружила их там.

— Что это вы здесь прячетесь? — требовательно спросила она. — А кто будет смеяться моим штучкам? Эта банда шулеров внизу?

Эдди познакомил ее с мистером Джорджем Айвзом. Эвелина увидела симпатичного, хорошо сложенного человека с волевым, беспокойным лицом. Тонкие морщинки в уголках глаз говорили о стремлении навязать миру свои правила игры. Джордж Айвз, со своей стороны, увидел довольно маленькую темноволосую девушку двадцати шести лет, горящую энтузиазмом, который нельзя было назвать иначе как профессиональным. По-другому говоря, он не был любительским — таким, какой можно ис-

shade of expression, every casual gesture, into a thing of such moment that she seemed to have no real self of her own. Her mouth was made of two small intersecting cherries pointing off into a bright smile; she had enormous, dark brown eyes. She was not beautiful but it took her only about ten seconds to persuade people that she was. Her body was lovely with little concealed muscles of iron. She was in black now and overdressed — she was always very chic and a little overdressed.

“I’ve been admiring you ever since you hurled yourself at me yesterday afternoon,” he said.

“I had to make you some way or other, didn’t I? What’s a girl going to with herself on a boat — fish?”

They sat down.

“Have you been in England long?” George asked.

“About five years — I go bigger over there.” In its serious moments her voice had the ghost of a British accent. “I’m not really very good at anything — I sing a little, dance a little, down a little, so the English think they’re getting a bargain. In New York they want specialists.”

тратить целиком на кого-то одного или даже на группу людей. Временами он овладевал ею столь безраздельно, преображая каждый оттенок выражения, каждый случайный жест, что казалось, будто у нее вовсе нет собственной индивидуальности. Ее рот был сложен из двух небольших вишенок — разлучаясь, они порождали обворожительную улыбку, — а темно-карие глаза были огромны. Не такая уж красавица в общепринятом смысле, она за считанные секунды могла убедить окружающих в обратном. В ее прелестной фигурке таились маленькие железные мышцы. Сейчас она была в черном и, пожалуй, немного чересчур нарядном платье — она всегда одевалась шикарно и немного чересчур.

— Я восхищаюсь вами с тех самых пор, как вы бросились на меня вчера днем, — сказал он.

— Надо же было как-то вас заинтриговать. Что еще делать девушке в море — удить рыбу?

Они сели.

— Долго вы пробыли в Англии? — спросил Джордж.

— Около пяти лет — на меня там спрос. — В серьезные минуты в ее голосе проскальзывала тень британского акцента. — Вообще-то я не умею как следует делать что-нибудь одно: немножко пою, немножко танцую, немножко кривляюсь, так что англичане считают меня

It was apparent that she would have preferred an equivalent popularity in New York.

Barney, Mrs Barney and Barlotto came into the bar.

“Aha!” Barlotto cried when George Ives was introduced. “She won’t believe he’s not the Prince.” He put his hand on George’s knee. “Miss Lovejoy was looking for the Prince the first day when she heard he was on board. We told her it was you.”

Evelyn was weary of Barlotto, weary of all of them, except Eddie O’Sullivan, though she was too tactful to have shown it when they were working together. She looked around. Save for two Russian priests playing chess their party was alone in the smoking-room — there were only thirty first-class passengers, with accommodations for two hundred. Again she wondered what sort of an America she was going back to. Suddenly the room depressed her — it was too big, too empty to fill and she felt the necessity of creating some responsive joy and gaiety around her.

“Let’s go down to my salon,” she suggested, pouring all her enthusiasm into her voice, making them a free and thrilling promise. “We’ll play

выгодным приобретением. В Нью-Йорке нужны специалисты.

Было ясно, что она предпочла бы такую же популярность в Нью-Йорке.

В комнату вошли Барни, миссис Барни и Барлотто.

— Ага! — воскликнул Барлотто, когда им представили Джорджа Айвза. — А она не верила, что вы не принц. — Он положил руку на колено своему новому знакомому: — Мисс Лавджой искала принца с того самого дня, как услышала, что он на борту. Мы сказали ей, что это вы.

Эвелина устала от Барлотто, устала от всех них, кроме Эдди О'Салливана, однако ей хватало такта не показывать этого, когда они работали вместе. Она огляделась. Кроме их компании и двух русских священников за шахматной доской, в курительном салоне никого не было: первым классом ехали всего тридцать пассажиров, хотя в нем вполне могли бы разместиться две сотни. И вновь она задумалась о том, какая Америка ее ждет. Вдруг комната стала угнетать ее — она была слишком велика, слишком пуста, — и Эвелина ощутила настоящую потребность создать вокруг немного отзывчивой суеты и веселья.

— Пойдемте ко мне в салон, — сказала она, вложив в голос весь свой пыл, так что в нем прозвенело свободное, волнующее обещание. —

the phonograph and send for the handsome doctor and the chief engineer and get them in a game of stud. I'll be the decoy."

As they went downstairs she knew she was doing this for the new man. She wanted to play to him, show him what a good time she could give people. With the phonograph wailing "You're driving me crazy" she began building up a legend. She was a "gun moll" and the whole trip had been a frame to get Mr Ives into the hands of the mob. Her throaty mimicry flicked here and there from one to the other; two ship's officers coming in were caught up in it and without knowing much English still understood the verve and magic of the impromptu performance. She was Anne Pennington, Helen Morgan, the effeminate waiter who came in for an order, she was everyone there in turn, and all in pace with the ceaseless music.

Later George Ives invited them all to dine with him in the upstairs restaurant that night. And as the party broke up and Evelyn's eyes sought his approval he asked her to walk with him before dinner.

The deck was still damp, still canvassed in against the persistent of rain. The lights were a dim and murky yellow and blankets tumbled awry on empty deck chairs.

Включим фонограф, позовем судового врача и старшего механика и заставим их играть в покер. Я буду приманкой.

Когда они спускались на нижнюю палубу, она уже знала, что затевает все это ради новичка. Ей хотелось сыграть для него, показать, какую радость она умеет дарить людям. Под причитания фонографа — на нем завели песенку «Ты сводишь меня с ума» — она дала волю фантазии. Она была гангстершей, «марухой», а все путешествие служило единственной цели: заманить мистера Айвза в лапы мафии. С наигранной хрипотцой она обращалась то к одному, то к другому; двух немцев из экипажа судна тоже вовлекли в происходящее, и они, плохо понимая английский, тем не менее уловили живость и обаяние этого импровизированного спектакля. Она была Энн Пеннингтон, Хелен Морган, жеманным официантом, явившимся, чтобы принять заказ, — всеми ими по очереди, и все это в такт непрекращающейся музыке.

Позже Джордж Айвз пригласил всех поужинать с ним сегодня вечером в ресторане наверху. А когда народ разошелся и глаза Эвелины обратились к нему, ища одобрения, он спросил, не хочет ли она прогуляться с ним перед ужином.

На палубе было еще сыро, и парусина по-прежнему защищала их от надоедливой мороси. Тускло мерцали желтые лампочки, на пустых шезлонгах валялись брошенные одеяла.

“You were a treat,” he said. “You’re like — Mickey Mouse.”

She took his arm and bent double over it with laughter.

“I like being Mickey Mouse. Look — there’s where I stood and stared you every time you walked around. Why didn’t you come around the fourth time?”

“I was embarrassed so I went up to the boat deck.”

As they turned at the bow there was a great opening of doors and a flooding out of people who rushed to the rail.

“They must have had a poor supper,” Evelyn said. “No — look!”

It was the Europa — a moving island of light. It grew larger minute by minute, swelled into a harmonious fairyland with music from its deck and searchlights playing on its own length. Through field-glasses they could discern figures lining the rail and Evelyn spun out the personal history of a man who was pressing his own pants in a cabin. Charmed they watched its sure matchless speed.

“Oh, Daddy, buy me that!” Evelyn cried, and then something suddenly broke inside her — the sight of beauty, the reaction to her late excite-

— Здорово у вас получается, — похвалил он. — Вы похожи на... на Микки-Мауса.

Она схватила его за руку и повисла на ней, скорчившись от смеха.

— Мне нравится быть Микки-Маусом. Послушайте — именно здесь я стояла и смотрела на вас, когда вы проходили мимо. Почему вы не сделали четвертый круг?

— Вы меня смутили, и я поднялся на шлюпочную палубу.

Когда они добрались до носовой части, вдруг разом распахнулось множество дверей и люди ринулись из них к бортам.

— Наверное, им дали что-нибудь не то на ужин, — сказала Эвелина. — Нет... глядите!

Это была «Европа» — плавучий остров света. Она становилась больше с каждой минутой, на глазах превращаясь в заманчивую волшебную страну: на палубе огромного судна играла музыка, лучи прожекторов скользили по его собственным бортам. В бинокль можно было различить фигурки, выстроившиеся вдоль поручней, и Эвелина мигом сочинила забавную историю о человеке, который сам гладит себе в каюте брюки. Зачарованные, они смотрели, как стремительно движется вперед быстроходный лайнер.

— Ой, папочка, купи! — воскликнула Эвелина, и тут что-то у нее внутри оборвалось: великолепное зрелище и реакция на недавнее воз-

ment choked her up and she thought vividly of her father. Without a word she went inside.

Two days later she stood with George Ives on the deck while the gaunt scaffolding of Coney Island slid by.

“What was Barlotto saying to you just now?” she demanded.

George laughed.

“He was saying just about what Barney said this afternoon, only he was more excited about it.”

She groaned.

“He said that you played with everybody — and that I was foolish if I thought this little boat flirtation meant anything — everybody had been through being in love with you and nothing ever came of it.”

“He wasn’t in love with me,” she protested. “He got fresh in a dance we had together and I called him for it.”

“Barney was wrought up too — said he felt like a father to you.”

“They make me tired,” she exclaimed. “Now they think they’re in love with me just because——”

“Because they see I am.”

“Because they think I’m interested in you. None of them were so eager until two days ago. So long as I make them laugh it’s all right but

буждение наложились друг на друга, у девушки перехватило дух, и ей снова живо вспомнился отец. Без единого слова она ушла вниз.

Два дня спустя они с Джорджем Айвзом стояли на палубе, а мимо плыли гигантские, неуклюжие сооружения Кони-Айленда.

— Что тебе сейчас сказал Барлотто? — спросила она.

Джордж рассмеялся:

— Он повторил то, что я уже слышал сегодня от Барни, только с большей настойчивостью.

Она испустила стон.

— Он сказал, что ты всем морочишь голову... и что с моей стороны будет очень глупо считать этот легкий флирт на корабле чем-то серьезным: все они по очереди были в тебя влюблены, и из этого ни разу ничего не вышло.

— Он не был в меня влюблен, — возразила она. — Просто позволил себе лишнее, когда мы танцевали вместе, и я его осадил.

— Барни тоже немножко волновался: сказал, что ты ему как дочь.

— Они мне надоели, — выпалила она. — Теперь им кажется, что они меня любят только потому, что...

— Потому что видят, как влюблен я.

— Потому что я, по их мнению, заинтересовалась тобой. Два дня назад никто из них и не думал беспокоиться. Пока я их смешу, все в по-

the minute I have any impulse of my own they all bustle up and think they're being so protective. I suppose Eddie O'Sullivan will be next."

"It was my fault telling them we found we lived only a few miles from each other in Maryland."

"No, it's just that I'm the only decent-looking girl on an eight-day boat, and the boys are beginning to squabble among themselves. Once they're in New York they'll forget I'm alive."

Still later they were together when the city burst thunderously upon them in the early dusk — the high white range of lower New York swooping down like a strand of a bridge, rising again into uptown New York, hallowed with diadems of foamy light, suspended from the stars.

"I don't know what's the matter with me," Evelyn sobbed. "I cry so much lately. Maybe I've been handling a parrot."

The German band started to play on deck but the sweeping majesty of the city made the inarch trivial and tinkling; after a moment it died away.

"Oh, God! It's so beautiful," she whispered brokenly.

If he had not been going south with her the affair would probably have ended an hour later in the customs shed. And as they rode south to

рядке, но стоит мне захотеть чего-нибудь своего, как они тут же начинают волноваться и проявлять заботу. Наверное, Эдди О’Салливан будет следующим.

— Зря я поделился с ними нашим открытием, сказал, что наши дома в Мэриленде разделяет всего несколько миль.

— Да нет, просто я единственная девушка с приличной внешностью в восьмидневном рейсе, яблоко раздора в мужской компании. В Нью-Йорке никто из них обо мне и не вспомнит.

Они были еще вместе, когда на них в ранних сумерках надвинулся город — высокая белая гряда южного Нью-Йорка, сбегаящая вниз, точно пролет гигантского моста, и снова взмывающая к вершинам в центре, увенчанная диадемами пенистого света под россыпью звезд.

— Не пойму, что со мной такое, — всхлинула Эвелина. — Последнее время я все плачу и плачу. Как будто трагическую роль репетирую.

На палубе заиграл немецкий оркестрик, но под сенью величественного города марш показался каким-то жалким брэнчанием; через несколько минут музыка смолкла.

— О боже! Это так прекрасно... — Ее голос сорвался на шепот.

Если бы он не ехал с ней на юг, их роман, наверное, закончился бы часом позже, на таможне. И на следующий день, когда они направлялись

Washington next day he receded for the moment and her father came nearer. He was just a nice American who attracted her physically — a little necking behind a lifeboat in the darkness. At the iron grating in the Washington station where their ways divided she kissed him good-bye and for the time forgot him altogether as her train shambled down into the low-forested clayland of southern Maryland. Screening her eyes with her hands Evelyn looked out upon the dark infrequent villages and the scattered farm lights. Rocktown was a shrunken little station and there was her brother with a neighbour's Ford — she was ashamed that her luggage was so good against the exploded upholstery. She saw a star she knew and heard Negro laughter from out of the night; the breeze was cool but in it there was some smell she recognized — she was home.

At the service next day in the Rocktown churchyard, the sense that she was on a stage, that she was being watched, froze Evelyn's grief — then it was over and the country doctor lay among a hundred Lovejoys and Dorseys and Crawshaws. It was very friendly leaving him there with all his relations around him. Then as they turned from the graveside her eyes fell on George Ives who stood a

в Вашингтон, ее новый друг временно отступил на задний план, а на передний выдвинулся отец. Джордж Айвз был просто милый американец, привлекательный для нее физически: с таким приятно немного понежничать в темноте за спасательной шлюпкой, но и только. У железной решетки на Вашингтонском вокзале, где их пути расходились, она поцеловала его на прощание и совсем не вспоминала о нем, пока ее поезд тащился к глинистым, поросшим низкими перелесками равнинам южного Мэриленда. Прикрывшись ладонями, Эвелина провожала взглядом погруженные во тьму редкие поселки и разбросанные там и сям огоньки одиноких ферм. На маленьком полустанке Роктауна ее встретил брат с соседским «фордом»: вся обивка в машине облезла, так что Эвелине стало неловко за свои добротные чемоданы. Она увидела знакомую звезду, из полумрака донесся смех негра, вместе с прохладным ветерком к ней прилетел слабый узнаваемый запах — она была дома.

Утром, во время зауспокойной службы на Роктаунском кладбище, Эвелине мешало ощущение, что она на сцене, что на нее смотрят, и это приглушило ее печаль; потом все кончилось, и сельский врач обрел свое место среди десятков Лавджоев, Дорси и Крошоу. Здесь, в окружении многочисленных родственников, его можно было оставить с чистой совестью. Потом, когда они

little apart with his hat in his hand. Outside the gate he spoke to her.

“You’ll excuse my coming. I had to see that you were all right.”

“Can’t you take me away somewhere now?” she asked impulsively. “I can’t stand much of this. I want to go to New York tonight.”

His face fell.

“So soon?”

“I’ve got to be learning a lot of new dance routines and freshening up my stuff. You get sort of stale abroad.”

He called for her that afternoon, crisp and shining as his coupe. As they started off she noticed that the men in the gasoline stations seemed to know him with liking and respect. He fitted into the quickening spring landscape, into a legendary Maryland of graciousness and gallantry. He had not the range of a European; he gave her little of that constant reassurance as to her attractiveness — there were whole half-hours when he seemed scarcely aware of her at all.

They stopped once more at the churchyard — she brought a great armful of flowers to leave as a last offering on her father’s grave. Leaving him at the gate she went in.

отошли от могилы, Эвелина наткнулась взглядом на Джорджа Айвза; он стоял чуть поодаль, держа в руке шляпу. У ворот он заговорил с ней:

— Извини, что пришел незваным. Мне нужно было убедиться, что у тебя все нормально.

— Пожалуйста, заberi меня отсюда поскорее, — сказала она, поддавшись внезапному импульсу. — Я не могу долго это выносить. Хочу сегодня же поехать в Нью-Йорк.

У него вытянулось лицо.

— Так скоро?

— Мне нужно выучить много новых танцев и обновить репертуар. За границей как-то отстаешь от жизни.

Он заехал за ней ближе к вечеру, свежий и чистый, как его маленький автомобиль. Когда они отправлялись, она заметила, что работники на бензоколонке откликаются на его просьбы с готовностью и уважением. Приятно было видеть этого человека на фоне пробуждающейся весенней природы, его изысканная вежливость напоминала о славном прошлом Мэриленда. В нем не было европейской широты, он не старался то и дело напоминать ей о ее привлекательности; порой он словно вовсе забывал о ее существовании и молчал чуть ли не по полчаса.

Они еще раз остановились у кладбища: она взяла с собой охапку цветов, чтобы в знак последнего прощания положить их на отцовскую могилу. Он ждал ее в машине, около ворот.

The flowers scattered on the brown unsettled earth. She had no more ties here now and she did not know whether she would come back any more. She knelt down. All these dead, she knew them all, their weather-beaten faces with hard blue flashing eyes, their spare violent bodies, their souls made of new earth in the long forest-heavy darkness of the seventeenth century. Minute by minute the spell grew on her until it was hard to struggle back to the old world where she had dined with kings and princes, where her name in letters two feet high challenged the curiosity of the night. A line of William McFee's surged through her:

O staunch old heart that toiled so long for me
I waste my years sailing along the sea.

The words released her — she broke suddenly and sat back on her heels, crying.

How long she was staying she didn't know; the flowers had grown invisible when a voice called her name from the churchyard and she got up and wiped her eyes.

"I'm coming." And then, "Good-bye then Father, all my fathers."

George helped her into the car and wrapped a robe around her. Then he took a long drink of country rye from his flask.

Цветы рассыпались по рыхлой, не успевшей осесть земле. Теперь ее больше ничто здесь не удерживало, и она не знала, вернется ли сюда еще когда-нибудь. Она опустилась на колени. Все эти мертвецы вокруг — она знала их всех, знала их побитые непогодой лица с твердым взглядом ярких синих глаз, их крепкие худощавые тела, их души, сотворенные из новой глины под сенью леса в долгой густой тьме семнадцатого столетия. Минута за минутой чары росли, и вот уже стало трудно вырваться обратно в тот мир, где она ужинала с королями и принцами, где ее имя, выведенное аршинными буквами, бросало вызов таинству ночи. Ей вспомнились строчки Уильяма Макфи:

О друг мой преданный, ты голову сложил,
Покуда я впустую море бороздил.

Потом слова ушли — и она внезапно будто надломилась и поникла, горько плача.

Сколько протекло времени, она не знала. Цветы уже стали невидимыми, когда ее окликнули сзади по имени; тогда она поднялась и вытерла слезы.

— Иду! — И после: — Ну что же, прощай, отец... все отцы.

Джордж усадил ее в машину и накинул ей на плечи теплый плащ. Потом сделал большой глоток из фляги с местным ржаным виски.

“Kiss me before we start,” he said suddenly.

She put up her face towards him.

“No, really kiss me.”

“Not now.”

“Don’t you like me?”

“I don’t feel like it, and my face is dirty.”

“As if that mattered.”

His persistence annoyed her.

“Let’s go on,” she said.

He put the car into gear.

“Sing me a song.”

“Not now, I don’t feel like it.”

He drove fast for half an hour — then he stopped under thick sheltering trees.

“Time for another drink. Don’t you think you better have one — it’s getting cold.”

“You know I don’t drink. You have one.”

“If you don’t mind.”

When he had swallowed he turned towards her again.

“I think you might kiss me now.”

Again she kissed him obediently but he was not satisfied.

“I mean really,” he repeated. “Don’t hold away like that. You know I’m in love with you and you say you like me.”

“Of course I do,” she said impatiently, “but there are times and times. This isn’t one of them. Let’s go on.”

— Поцелуй меня, и поедем, — вдруг сказал он. Она почти коснулась губами его щеки.

— Нет, по-настоящему. Поцелуй.

— Не сейчас.

— Я тебе не нравлюсь?

— Мне сейчас не хочется, и лицо у меня грязное.

— Какая разница.

Его настойчивость вызвала у нее досаду.

— Поехали, — сказала она.

Он завел мотор.

— Спой мне что-нибудь.

— Потом, сейчас мне не хочется.

Через полчаса быстрой езды он остановил машину под большими развесистыми деревьями.

— Пора еще выпить. А ты не будешь? Холодает.

— Ты ведь знаешь, что я не пью. Пей сам.

— Если не возражаешь.

Сделав глоток, он снова повернулся к ней.

— Может быть, теперь ты меня поцелуешь?

Она покорно поцеловала его, но он не был удовлетворен.

— Я просил по-настоящему, — повторил он. — Не так осторожно. Ты же знаешь, как я влюблен, и говоришь, что я тебе нравлюсь.

— Конечно, — нетерпеливо откликнулась она. — Но сейчас неподходящее время. Потом как-нибудь. Ну поехали!

“But I thought you liked me.”

“I won’t if you act this way.”

“You don’t like me then.”

“Oh don’t be absurd,” she broke out, “of course I like you, but I want to get to Washington.”

“We’ve got lots of time.” And then as she didn’t answer, “Kiss me once before we start.”

She grew angry. If she had liked him less she could have laughed him out of this mood. But there was no laughter in her — only an increasing distaste for the situation.

“Well,” he said with a sigh, “this car is very stubborn. It refuses to start until you kiss me.” He put his hand on hers but she drew hers away.

“Now look here.” Her temper mounted into her cheeks, her forehead. “If there was anything you could do to spoil everything it was just this. I thought people only acted like this in cartoons. It’s so utterly crude and”—she searched for a word—“and American. You only forgot to call me „baby“.”

“Oh.” After a minute he started the engine and then the car. The lights of Washington were a red blur against the sky. “Evelyn,” he said presently. “I can’t think of anything more natural than wanting to kiss you, I—”

— Но я думал, я тебе нравлюсь.

— Если будешь так себя вести, разонравишься.

— Значит, и не нравился никогда.

— Ох, не валяй дурака, — вырвалось у нее. — Конечно, ты мне нравишься, но я хочу попасть в Вашингтон.

— У нас уйма времени. — И потом, не дождавшись ответа: — Поцелуй хоть разок, и поедем.

Она рассердилась. Будь он не так ей симпатичен, она перевела бы все в шутку. Но в ней не было смеха — только усиливающееся недовольство.

— Видишь ли, — со вздохом сказал он, — мой автомобиль очень упрям. Он не тронется с места, пока ты меня не поцелуешь. — Он хотел взять ее за руку, но она отпрянула.

— Ну вот что. — Она почувствовала, как ее щеки и даже лоб теплеют от гнева. — Если ты действительно хотел все испортить, по-моему, это тебе удалось. Я думала, такое бывает только в комиксах. Это так грубо и... — она искала слово, — так по-американски. Ты бы еще назвал меня своей девочкой.

— Ох. — Через минуту он завел двигатель, потом машина тронулась. На небе впереди висело красное зарево Вашингтона. — Эвелина, — вскорее сказал он. — Для меня нет ничего более естественного, чем желание поцеловать тебя, и я...

“Oh, it was so clumsy,” she interrupted. “Half a pint of corn whisky and then telling me you wouldn’t start the car unless I kissed you. I’m not used to that sort of thing. I’ve always had men treat me with the greatest delicacy. Men have been challenged to duels for staring at me in a casino — and then you, that I liked so much, try a thing like that. I can’t stand it——” And again she repeated, bitterly “It’s so American.”

“Well, I haven’t any sense of guilt about it but I’m sorry I upset you.”

“Don’t you see?” she demanded. “If I’d wanted to kiss you I’d have managed to let you know.”

“I’m terribly sorry,” he repeated.

They had dinner in the station buffet. He left her at the door of her pullman car.

“Good-bye,” she said, but coolly now, “Thank you for an awfully interesting trip. And call me up when you come to New York.”

“Isn’t this silly,” he protested. “You’re not even going to kiss me good-bye.”

She didn’t want to at all now and she hesitated before leaning forward lightly from the step. But this time he drew back.

“Never mind,” he said. “I understand how you feel. I’ll see you when I come to New York.”

— Это было так бесцеремонно, — прервала его она. — Выпить полпинты виски, а потом заявить, что ты никуда не поедешь, пока я тебя не поцелую. Я не привыкла к таким вещам. Мужчины всегда обращались со мной исключительно деликатно. Некоторых вызывали на дуэль только за то, что они посмотрели на меня в казино, — и вдруг ты выкидываешь такое, а ведь ты мне по-настоящему нравился. Надо же было... — И она вновь с горечью повторила: — Это так по-американски.

— Что ж, я не чувствую за собой вины, но мне жаль, что я тебя огорчил.

— Неужели ты не понимаешь? — возмутилась она. — Если бы мне захотелось целоваться, я бы дала тебе знать.

— Мне очень жаль, — повторил он.

Они поужинали в привокзальном буфете. Он расстался с ней у двери вагона.

— До свидания, — сказала она, но уже с прохладцей. — Спасибо за интересную поездку. И загляни ко мне, когда будешь в Нью-Йорке.

— Ну и глупо, — отозвался он. — Ты даже не хочешь поцеловать меня на прощание.

Ей совсем этого не хотелось, и она помедлила, но потом все же чуть наклонилась к нему со ступеньки. Но в этот раз он отпрянул сам.

— Ничего, — сказал он. — Я понимаю, каково тебе сейчас. Увидимся, когда приеду в Нью-Йорк.

He took off his hat, bowed politely and walked away. Feeling very alone and lost Evelyn went on into the car. That was for meeting people on boats, she thought, but she kept on feeling strangely alone.

II

She climbed a network of steel, concrete and glass, walked under a high echoing dome and came out into New York. She was part of it even before she reached her hotel. When she saw mail waiting for her and flowers around her suite, she was sure she wanted to live and work here with this great current of excitement flowing through her from dawn to dusk.

Within two days she was putting in several hours a morning Umbering up neglected muscles, an hour of new soft-shoe stuff with Joe Crusoe, and making a tour of the city to look at every entertainer who had something new.

Also she was weighing the prospects for her next engagement. In the background was the chance of going to London as a co-featured player in a Gershwin show then playing New York. Yet there was an air of repetition about it. New York

Он снял шляпу, вежливо поклонился и зашагал прочь. Чувствуя себя очень одинокой и потерянной, Эвелина вошла в вагон. Вот они, корабельные знакомства, подумала она. И все-таки ощущение одиночества почему-то не проходило.

II

Она поднялась по лестнице среди стали, стекла и бетона, прошагала под высоким гулким куполом и вышла в Нью-Йорк. Она стала его частью, еще не успев добраться до своей гостиницы. Увидев ожидающие ее письма и цветы в номере, она поняла, как сильно ей хочется жить и работать здесь, в могучем потоке радостного волнения, не отпускающего душу с рассвета и до заката.

Через два дня все вошло в привычную колею: по утрам несколько часов разминки, чтобы вернуть гибкость отвыкшим от нагрузки мышцам, час на разучивание модных танцев с чечеточником Джо Крузо, а потом путешествие по городу и знакомство со всеми новинками эстрады, появившимися за время ее отсутствия.

Думала она и о своих перспективах, об очередном ангажементе. На заднем плане маячила возможность отправиться в Лондон в качестве участницы гершвиновского шоу, которое затем собирались привезти обратно. Но Англия ей на-

excited her and she wanted to get something here. This was difficult — she had little following in America, show business was in a bad way — after a while her agent brought her several offers for shows that were going into rehearsal this fall. Meanwhile she was getting a little in debt and it was convenient that there were almost always men to take her to dinner and the theatre.

March blew past. Evelyn learned new steps and performed in half a dozen benefits; the season was waning. She dickered with the usual young impresarios who wanted to “build something around her”, but who seemed never to have the money, the theatre and the material at one and the same time. A week before she must decide about the English offer she heard from George Ives.

She heard directly, in the form of a telegram announcing his arrival, and indirectly in the form of a comment from her lawyer when she mentioned the fact. He whistled.

“Woman, have you snared George Ives? You don’t need any more jobs. A lot of girls have worn out their shoes chasing him.”

“Why, what’s his claim to fame?”

скутила. Ее привлекал Нью-Йорк, и она хотела найти что-нибудь здесь. Это оказалось трудно: в Америке у нее было меньше поклонников, да и вся индустрия развлечений переживала не лучшие времена. Наконец ее агент раздобыл несколько предложений на роли в спектаклях, которые должны были ставиться этой осенью. Тем временем она успела слегка залезть в долги; слава богу, что почти всегда находились мужчины, желающие пригласить ее на ужин и в театр.

Март промчался незаметно. Эвелина обновила свой танцевальный репертуар и выступила в нескольких бенефисах; сезон шел на убыль. Как обычно, она торговалась с молодыми импресарио, которые хотели «соорудить с ней что-нибудь», но которым почему-то всегда не хватало либо денег, либо театра, либо сценария. За неделю до того, как нужно было принять решение относительно поездки в Англию, она получила известие от Джорджа Айвза.

Это известие имело вид телеграммы, возвещающей о его прибытии; когда она упомянула об этом в присутствии своего адвоката, тот присвистнул.

— Женщина, неужели на твой крючок попался сам Джордж Айвз? Тогда тебе больше не нужна работа. Многие девицы стерли свои каблучки до самой подошвы, бегая за ним по пятам.

— И чем же он так хорош?

“He’s rich as Croesus — he’s the smartest young lawyer in the South, and they’re trying to run him now for governor of his state. In his spare time he’s one of the best polo players in America.”

Evelyn whistled.

“This is news,” she said.

She was startled. Her feelings about him suddenly changed — everything he had done began to assume significance. It impressed her that while she had told him all about her public self he had hinted nothing of this. Now she remembered him talking aside with some ship reporters at the dock.

He came on a soft poignant day, gentle and spirited. She was engaged for lunch but he picked her up at the Ritz afterwards and they drove in Central Park. When she saw in a new revelation his pleasant eyes and his mouth that told how hard he was on himself, her heart swung towards him — she told him she was sorry about that night.

“I didn’t object to what you did but to the way you did it,” she said. “It’s all forgotten. Let’s be happy.”

“It all happened so suddenly,” he said. “It was disconcerting to look up suddenly on a boat and see the girl you’ve always wanted.”

— Богат как Крез, — самый преуспевающий молодой юрист на Юге, и сейчас его выдвинули на выборах в губернаторы штата. А в свободное время он один из лучших игроков в поло во всей Америке.

Теперь присвистнула Эвелина.

— Ну и ну, — сказала она.

Новость потрясла ее. Вдруг ее чувства по отношению к нему изменились: все его поступки неожиданно показались исполненными смысла. На Эвелину произвело впечатление то, что он, визнавав все возможное о ее положении в обществе, ничего не сказал ей о своем. Только сейчас она вспомнила, что в порту он перемолвился словечком с какими-то репортерами.

Он приехал в погожий, по-весеннему трогательный день, учтивый и энергичный. У нее была назначена встреча за ланчем, но потом он забрал ее из «Рица» и привез в Центральный парк. Когда она увидела в новом свете его славные глаза и маленькие складки в уголках рта, говорящие о том, как требователен он к самому себе, ее душа рванулась к нему — она сказала, что жалеет о своем поведении в тот вечер.

— Я не возражала против того, что ты делал, только против способа, — сказала она. — Все забыто. Давай будем счастливы.

— Все произошло слишком внезапно, — сказал он. — Я совсем растерялся, когда поднял глаза там, на борту, и увидел девушку, которую искал всю жизнь.

“It was nice, wasn’t it?”

“I thought that anything so like a casual flower needn’t be respected. But that was all the more reason for treating it gently.”

“What nice words,” she teased him. “If you keep on I’m going to throw myself under the wheels of the cab.”

Oh, she liked him. They dined together and went to a play and in the taxi going back to her hotel she looked up at him and waited.

“Would you consider marrying me?”

“Yes, I’d consider marrying you.”

“Of course if you married me we’d live in New York.”

“Call me Mickey Mouse,” she said suddenly.

“Why?”

“I don’t know — it was fun when you called me Mickey Mouse.”

The taxi stopped at her hotel.

“Won’t you come in and talk for a while?” she asked.

Her bodice was stretched tight across her heart.

“Mother’s here in New York with me and I promised I’d go and see her for a while.”

“Oh.”

“Will you dine with us tomorrow night?”

“All right.”

— Разве ты не обрадовался?

— Я думал, то, что так похоже на случайно найденный цветок, не заслуживает уважения. Но все наоборот: тем больше было причин обращаться с тобой бережно.

— Очень мило, — засмеялась она. — Если будешь продолжать в том же духе, я брошусь под колеса такси.

Ах как он ей нравился! Они поужинали вместе, пошли в театр, а в такси, по дороге обратно в гостиницу, она посмотрела на него в ожидании.

— Подумаешь о том, чтобы выйти за меня замуж?

— Ладно, подумаю.

— Разумеется, если ты за меня выйдешь, мы будем жить в Нью-Йорке.

— Назови меня Микки-Маусом, — вдруг сказала она.

— Зачем?

— Не знаю... Ужасно было смешно, когда ты называл меня Микки-Маусом.

Такси остановилось у дверей гостиницы.

— Ты не зайдешь? — спросила она. — Поболтали бы еще.

Ее груди было тесно в лифте.

— Моя мать приехала со мной в Нью-Йорк. Я обещал прийти, чтобы она не скучала.

— А-а.

— Поужинаешь со мной завтра?

— Конечно.

She hurried in and up to her room and put on the phonograph.

"Oh, gosh, he's going to respect me," she thought. "He doesn't know anything about me, he doesn't know anything about women. He wants to make a goddess out of me and I want to be Mickey Mouse." She went to the mirror swaying softly before it: "Lady play your mandolin Lady let that tune begin."

At her agent's next morning she ran into Eddie O'Sullivan.

"Are you married yet?" he demanded. "Or did you ever see him again?"

"Eddie, I don't know what to do. I think I'm in love with him but we're always out of step with each other."

"Take him in hand."

"That's just what I don't want to do. I want to be taken in hand myself."

"Well, you're twenty-six — you're in love with him. Why don't you marry him? It's a bad season."

"He's so American," she answered.

"You've lived abroad so long that you don't know what you want."

"It's a man's place to make me certain."

It was in a mood of revolt against what she felt was to be an inspection that she made a midnight rendezvous for afterwards to go to Chaplin's film

Она поспешила наверх, к себе в номер, и включила фонограф.

«О господи, он собирается меня уважать, — подумала она. — Он ничего обо мне не знает, ничего не знает о женщинах. Он хочет сделать из меня богиню, а я хочу быть Микки-Маусом». Она подошла к зеркалу и встала перед ним, чуть раскачиваясь из стороны в сторону: «Сегодня наши именины, Споем под звуки мандолины».

Утром у своего агента она столкнулась с Эдди О'Салливаном.

— Ты еще не замужем? — поинтересовался он. — Или вообще его больше не видела?

— Я не знаю, что делать, Эдди. По-моему, я в него влюблена, но у нас все как-то не в лад.

— Так прибери его к рукам.

— Именно этого я и не хочу. Хочу, чтобы меня саму прибрали к рукам.

— Что ж, тебе уже двадцать шесть, и ты его любишь. Почему бы не выйти замуж? Да и сезон плохой.

— Он американец до мозга костей, — пожаловалась она.

— Ты так долго жила за границей, что теперь сама не знаешь, чего хочешь.

— Вот пусть мужчина мне и объяснит.

Она догадывалась, что ей предстоит смотрины; в мятежном настроении, вызванном этим предчувствием, она договорилась пойти в полночь на

with two other men—"because I frightened him in Maryland and he'll only leave me politely at my door". She pulled all her dresses out of her wardrobe and defiantly chose a startling gown from Vionnet; when George called for her at seven she summoned him up to her suite and displayed it, half hoping he would protest.

"Wouldn't you rather I'd go as a convent girl?"

"Don't change anything. I worship you."

But she didn't want to be worshipped.

It was still light outside and she liked being next to him in the car. She felt fresh and young under the fresh young silk — she would be glad to ride with him for ever, if only she were sure they were going somewhere.

...The suite at the Plaza dosed around them; lamps were lighted in the salon.

"We're really almost neighbours in Maryland," said Mrs Ives. "Your name's familiar in St Charles county and there's a fine old house called Lovejoy Hall. Why don't you buy it and restore it?"

"There's no money in the family," said Evelyn bluntly. "I'm the only hope, and actresses never save."

When the other guest arrived Evelyn started. Of all shades of her past — Colonel Cary. She

чаплинский фильм с двумя другими знакомыми: «... потому что я напугала его в Мэриленде, и он только вежливо распрощается со мной у дверей». Вытащив из гардероба все свои платья, она решительно выбрала самое вызывающее, от «Вьонне»; в семь часов, когда Джордж зашел за ней, она пригласила его в номер и показала свой наряд, втайне надеясь, что он станет возражать.

— Может, ты предпочел бы, чтобы я выглядела как монашка?

— Не надо ничего менять. Я боготворю тебя. Но она не хотела, чтобы ее боготворили.

На улице еще не стемнело, и ей было приятно сидеть рядом с ним в машине. В свежем, молодом шелку она чувствовала себя свежей и молодой — она с радостью ехала бы с ним вечно, если бы только знала, что впереди их что-то ждет.

...Апартаменты «Плазы» сомкнулись вокруг них; в гостиной горели люстры.

— В Мэриленде мы и вправду почти соседи, — сказала миссис Айвз. — В округе Сент-Чарльз хорошо знают вашу фамилию — там есть прекрасный старый дом, который называется Лавджой-Холл. Вы не думали купить его и отремонтировать?

— Наш род обеднел, — смело ответила Эвелина. — Я их единственная надежда, но актрисы не умеют копить деньги.

Когда явился другой гость, Эвелина вздрогнула. Из всех теней прошлого... ну надо же,

wanted to laugh, or else hide — for an instant she wondered if this had been calculated. But she saw in his surprise that it was impossible.

“Delighted to see you again,” he said simply. As they sat down at table Mrs Ives remarked: “Miss Lovejoy is from our part of Maryland.”

“I see,” Colonel Cary looked at Evelyn with the equivalent of a wink.

His expression annoyed her and she flushed. Evidently he knew nothing about her success on the stage, remembered only an episode of six years ago. When champagne was served she let a waiter fill her glass lest Colonel Cary think that she was playing an unsophisticated role.

“I thought you were a teetotaller,” George observed.

“I am. This is about the third drink I ever had in my life.”

The wine seemed to clarify matters; it made her see the necessity of anticipating whatever the Colonel might afterwards tell the Ives. Her glass was filled again. A little later Colonel Cary gave an opportunity when he asked:

“What have you been doing all these years?”

“I’m on the stage.” She turned to Mrs Ives. “Colonel Cary and I met in my most difficult days.”

“Yes?”

полковник Кэри! Ей захотелось или засмеяться, или спрятаться. На мгновение у нее даже мелькнула мысль, уж не подстроено ли все это, — но по его удивлению она поняла, что никакого плана быть не могло.

— Рад видеть вас снова, — просто сказал он.

Когда они сели за стол, миссис Айвз заметила:

— Мисс Лавджой из наших краев в Мэриленде.

— Понятно. — Полковник Кэри взглянул на Эвелину и неуклюже попытался ей подмигнуть.

От досады она залилась румянцем. Очевидно, он не знал ничего о ее успехе на сцене, помнил только эпизод шестилетней давности. Когда подали шампанское, она позволила слуге наполнить ее бокал, чтобы полковник не решил, будто она изображает неискушенность.

— Я думал, ты вовсе не берешь в рот спиртного, — обронил Джордж.

— Так и есть. Кажется, это мой третий бокал за всю жизнь.

Похоже, вино прояснило ситуацию; благодаря ему она осознала необходимость опередить полковника, который мог потом все рассказать Айвзам по-своему. Ее бокал наполнили вновь. Чуть позже полковник Кэри помог ей начать, спросив:

— Чем вы занимались все эти годы?

— Играла на сцене. — Она повернулась к миссис Айвз: — Мы с полковником познакомились, когда у меня была самая трудная полоса.

— Неужели?

The Colonel's face reddened but Evelyn continued steadily.

"For two months I was what used to be called a „party girl“."

"A party girl?" repeated Mrs Ives puzzled.

"It's a New York phenomenon," said George.

Evelyn smiled at the Colonel.

"It used to amuse me."

"Yes, very amusing," he said.

"Another girl and I had just left school and decided to go on the stage. We waited around agencies and offices for months and there were literally days when we didn't have enough to eat."

"How terrible," said Mrs Ives.

"Then somebody told us about „party girls“. Businessmen with clients from out of town sometimes wanted to give them a big time — singing and dancing and champagne, all that sort of thing, make them feel like regular fellows seeing New York. So they'd hire a room in a restaurant and invite a dozen party girls. All it required was to have a good evening dress and to sit next to some middle-aged man for two hours and laugh at his jokes and maybe kiss him good night. Sometimes you'd find a fifty-dollar bill in your napkin when you sat down at table. It sounds terrible, doesn't it — but it was salvation to us in that awful three months."

Лицо у полковника покраснело, но Эвелина упрямо продолжала:

— Два месяца я была так называемой девушкой для вечеринок.

— Девушкой для вечеринок? — озадаченно повторила миссис Айвз.

— Есть такое нью-йоркское изобретение, — сказал Джордж.

Эвелина улыбнулась полковнику.

— Это меня забавляло.

— Да, было весело, — подтвердил он.

— Мы с подругой только что закончили школу и решили пойти в актрисы. Не один месяц обивали пороги разных агентств и контор; бывали дни, когда нам буквально нечего было есть.

— Какой ужас, — откликнулась миссис Айвз.

— Потом кто-то рассказал нам о девушках для вечеринок. Иногда предпринимателям хотелось развлечь клиентов из других городов — пение, танцы, шампанское и все такое, — чтобы те почувствовали себя в Нью-Йорке своими. Тогда они снимали зал в ресторане и приглашали дюжину девушек для вечеринок. Все, что от нас требовалось, — это надеть хорошее вечернее платье и просидеть два часа рядом с каким-нибудь пожилым мужчиной, смеяться его шуткам и, может быть, поцеловать его на сон грядущий. Иногда, садясь за стол, мы находили у себя в салфетке банкноту в пятьдесят долларов. Звучит ужасно, но в те три кошмарных месяца это было для нас спасением.

A silence had fallen, short as far as seconds go but so heavy that Evelyn felt it on her shoulders. She knew that the silence was coming from some deep place in Mrs Ives's heart, that Mrs Ives was ashamed for her and felt that what she had done in the struggle for survival was unworthy of the dignity of woman. In those same seconds she sensed the Colonel chuckling maliciously behind his bland moustache, felt the wrinkles beside George's eyes straining.

"It must be terribly hard to get started on the stage," said Mrs Ives. "Tell me — have you acted mostly in England?"

"Yes."

What had she said? Only the truth and the whole truth in spite of the old man leering there. She drank off her glass of champagne.

George spoke quickly, under the Colonel's roar of conversation:

"Isn't that a lot of champagne if you're not used to it?"

She saw him suddenly as a man dominated by his mother; her frank little reminiscence had shocked him. Things were different for a girl on her own and at least he should see that it was wiser than that Colonel Cary might launch dark implications thereafter. But she refused further champagne.

В комнате повисла тишина — недолгая, если считать на секунды, но такая гнетущая, что Эвелина ощущала ее тяжесть на своих плечах. Она знала, что источник этой тишины кроется где-то в глубине души миссис Айвз, что миссис Айвз стыдно за нее и что она считает подобного рода борьбу за выживание не достойной порядочной женщины. В те же секунды она почувствовала, как губы полковника под вежливыми усами искривились в легкой зловещей усмешке, уловила, как напряглись морщинки у глаз Джорджа.

— Наверное, это было немыслимо трудно — начать сценическую карьеру, — прервала молчание миссис Айвз. — Скажите... вы в основном выступали в Англии?

— Да.

Что она такого сказала? Только правду — всю правду, и пусть этот старик ухмыляется сколько угодно. Она допила бокал до дна.

Полковник загудел снова, обращаясь к миссис Айвз; воспользовавшись этим, Джордж быстро и тихо проговорил:

— Не много ли будет столько шампанского, если ты к нему не привыкла?

Она вдруг увидела в нем человека, покорного своей властной матери; ее маленькая откровенность шокировала его. Для девушки, которая вынуждена жить сама по себе, все выглядит иначе, и он, по крайней мере, должен был понять, что ей следовало опередить полковника с его

After dinner she sat with George at the piano.

“I suppose I shouldn’t have said that at dinner,” she whispered.

“Nonsense! Mother knows everything’s changed nowadays.”

“She didn’t like it,” Evelyn insisted. “And as for that old boy that looks like a Peter Arno cartoon!”

Try as she might Evelyn couldn’t shake off the impression that some slight had been put upon her. She was accustomed only to having approval and admiration around her.

“If you had to choose again would you choose the stage?” Mrs Ives asked.

“It’s a nice life,” Evelyn said emphatically. “If I had daughters with talent I’d choose it for them. I certainly wouldn’t want them to be society girls.”

“But we can’t all have talent,” said Colonel Cary.

“Of course most people have the craziest prejudices about the stage,” pursued Evelyn.

“Not so much nowadays,” said Mrs Ives. “So many nice girls go on the stage.”

возможными сомнительными намеками. Но от очередной порции шампанского она отказалась.

После ужина они с Джорджем сели за фортепиано.

— Наверное, не надо мне было говорить это за столом, — прошептала она.

— Чепуха! Мама знает, что нынче все по-другому.

— Она была недовольна, — стояла на своем Эвелина. — А этот старикан! Прямо ожившая карикатура Питера Арно!

Как Эвелина ни старалась, она не могла избавиться от впечатления, что к ней относятся чуть пренебрежительно. До сих пор ей всегда доставались лишь комплименты и восхищение.

— Если бы вам пришлось выбирать еще раз, вы опять выбрали бы сцену? — спросила миссис Айвз.

— Мне нравится моя жизнь, — с ударением сказала Эвелина. — Если бы у меня были дочери и у них обнаружился талант, я посоветовала бы им то же самое. Мне определенно не хотелось бы, чтобы они стали просто светскими девушками.

— Но ведь талант есть не у всех, — возразил полковник.

— Конечно, со сценой связаны самые невероятные предрассудки, — упорствовала Эвелина.

— В наши дни их гораздо меньше, — сказала миссис Айвз. — Столько милых девушек идут в актрисы.

“Girls of position,” added Colonel Cary.

“They don’t usually last very long,” said Evelyn. “Every time some debutante decides to dazzle the world there’s another flop due on Broadway. But the thing that makes me maddest is the way people condescend. I remember one season on the road — all the small-town social leaders inviting you to parties and then whispering and snickering in the corner. Snickering at Gladys Knowles!” Evelyn’s voice rang with indignation: “When Gladys goes to Europe she dines with the most prominent people in every country, the people who don’t know these backwoods social leaders exist——”

“Does she dine with their wives too?” asked Colonel Cary.

“With their wives too.” She glanced sharply at Mrs Ives. “Let me tell you that girls on the stage don’t feel a bit inferior, and the really fashionable people don’t think of patronizing them.”

The silence was there again heavier and deeper, but this time excited by her own words Evelyn was unconscious of it.

“Oh, it’s American women,” she said. “The less they have to offer the more they pick on the ones that have.”

— Девушек с положением, — добавил полковник.

— Обычно они долго не продерживаются, — сказала Эвелина. — Стоит мне услышать об очередной дебютантке, которая думает ослепить мир, как я уже знаю: скоро на Бродвее опять будет провал. Но больше всего меня раздражает человеческая снисходительность. Помню одно гастрольное турне... все эти местечковые политические лидеры приглашают тебя на вечеринки, а потом шепчутся и хихикают по углам. Хихикать над Глэдис Ноулс! — Голос Эвелины зазвенел от негодования: — Когда Глэдис приезжает в Европу, она обедает с самыми знаменитыми людьми во всех странах, с людьми, которые даже не подозревают о существовании этих жалких провинциалов...

— Она обедает и с их женами? — спросил полковник Кэри.

— Да, и с женами. — Она остро взглянула на миссис Айвз. — Позвольте сказать вам, что девушки со сцены отнюдь не считают себя второсортными, и настоящие аристократы никогда не проявляют снисходительности по отношению к ним.

Вновь наступила тишина, еще более тяжкая и глубокая, но на сей раз Эвелина, взволнованная собственными словами, этого не заметила.

— Так уж устроены американки, — сказала она. — Чем меньше у них своих достоинств, тем охотнее они критикуют тех, у кого они есть.

She drew a deep breath, she felt that the room was stifling.

"I'm afraid I must go now," she said.

"I'll take you," said George.

They were all standing. She shook hands. She liked George's mother, who after all had made no attempt to patronize her.

"It's been very nice," said Mrs Ives.

"I hope we'll meet soon. Good night."

With George in a taxi she gave the address of a theatre on Broadway.

"I have a date," she confessed.

"I see."

"Nothing very important."

She glanced at him, and put her hand on his. Why didn't he ask her to break the date? But he only said:

"He better go over Forty-fifth Street."

Ah, well, maybe she'd better go back to England — and be Mickey Mouse. He didn't know anything about women, anything about love, and to her that was the unforgivable sin. But why in a certain set of his face under the street lamps did he remind her of her father?

"Won't you come to the picture?" she suggested.

"I'm feeling a little tired — I'm turning in."

"Will you phone me tomorrow?"

"Certainly."

Она вздохнула полной грудью; ей было душно.

— Боюсь, мне пора идти, — сказала она.

— Я провожу, — сказал Джордж.

Все были на ногах. Последовали прощальные рукопожатия. Ей понравилась мать Джорджа: в конце концов, она не пыталась проявлять снисходительность.

— Было очень приятно, — сказала миссис Айвз.

— Надеюсь, мы скоро встретимся. Доброй ночи.

Сев с Джорджем в такси, она назвала шоферу адрес кинотеатра на Бродвее.

— У меня там встреча, — призналась она.

— Понятно.

— Ничего важного.

Она глянула на Джорджа и коснулась его руки. Почему он не попросит отменить эту встречу? Но он сказал только:

— Лучше поехать по Сорок пятой.

Что ж, может быть, ей и правда стоит вернуться в Англию... и быть Микки-Маусом. Он ничего не знал о женщинах, ничего не знал о любви, а для нее это было непростительным грехом. Но почему вдруг черты его застывшего лица в свете вечерних фонарей так напомнили ей отцовские?

— А ты не хочешь в кино? — предложила она.

— Я немного устал... пойду домой.

— Позвонишь завтра?

— Обязательно.

She hesitated. Something was wrong and she hated to leave him. He helped her out of the taxi and paid it.

“Come with us?” she asked almost anxiously. “Listen, if you like——”

“I’m going to walk for a while!”

She caught sight of the men waiting for her and waved to them.

“George, is anything the matter?” she said.

“Of course not.”

He had never seemed so attractive, so desirable to her. As her friends came up, two actors, looking like very little fish beside him, he took off his hat and said:

“Good night, I hope you enjoy the picture.”

“George——”

— and a curious thing happened. Now for the first time she realized that her father was dead, that she was alone. She had thought of herself as being self-reliant, making more in some seasons than his practice brought him in five years. But he had always been behind her somewhere, his love had always been behind her — She had never been a waif, she had always had a place to go.

And now she was alone, alone in the swirling indifferent crowd. Did she expect to love this man,

Она помедлила. Что-то было неладно, и она боялась расставаться с ним. Он помог ей выйти из такси и расплатился с шофером.

— Пойдем с нами, — сказала она почти с тревогой. — Послушай, если хочешь...

— Я хочу прогуляться!

Она заметила приятелей, которые ждали ее у здания, и помахала им.

— Джордж, что-нибудь не так? — спросила она.

— Все в порядке.

Он никогда еще не казался ей таким притягательным, таким желанным. Когда подошли ее друзья, двое актеров, — рядом с ним они выглядели простоватыми, чуть ли не подозрительными, — он снял шляпу и сказал:

— Доброй ночи, надеюсь, картина вам понравится.

— Джордж...

...И тут случилось странное. Только сейчас она впервые осознала, что ее отец умер, что она осталась одна. Она считала, что может сама себя обеспечить: ведь за иной сезон она зарабатывала столько, сколько его практика не приносила и за пять лет. Но он всегда как-то незаметно ее поддерживал, его любовь всегда помогала ей... она никогда не чувствовала себя перекачанным, у нее всегда был родной уголок.

И вот она осталась одна — одна в этой толкотне, среди равнодушной толпы. Что же, она дума-

who offered her so much, with the naive romantics of eighteen. He loved her — he loved her more than any one in the world loved her. She wasn't ever going to be a great star, she knew that, and she had reached the time when a girl had to look out for herself.

"Why, look," she said, "I've got to go. Wait — or don't wait."

Catching up her long gown she sped up Broadway. The crowd was enormous as theatre after theatre eddied out to the sidewalks. She sought for his silk hat as for a standard, but now there were many silk hats. She peered frantically into groups and crowds as she ran. An insolent voice called after her and again she shuddered with a sense of being unprotected. Reaching the corner she peered hopelessly into the tangled mass of the block ahead. But he had probably turned off Broadway so she darted left down the dimmer alley of Forty-eighth Street. Then she saw him, walking briskly, like a man leaving something behind — and overtook him at Sixth Avenue.

"George," she cried.

He turned; his face looking at her was hard and miserable.

"George, I didn't want to go to that picture, I wanted you to make me not go. Why didn't you ask me not to go?"

ла полюбить этого человека, который обещал ей так много, с наивным романтизмом восемнадцатилетней? Он любил ее — любил сильнее, чем кто бы то ни было в этом мире. Она знала, что ей никогда не стать великой актрисой, и понимала, что в ее возрасте девушке пора позаботиться о себе.

— Послушайте, — сказала она. — Мне надо идти. Подождите меня... или нет, не надо.

Подобрав полы своего длинного платья, она пустилась по Бродвею за ним вдогонку. Из всех театров валом валили зрители, и проспект был запружен народом. Она надеялась заметить цилиндр Джорджа, но теперь вокруг было много цилиндров. На бегу она отчаянно озиралась, заглядывала в чужие лица. Ей крикнули вслед что-то оскорбительное, и она содрогнулась, вновь почувствовав свою незащищенность. На перекрестке она со страхом посмотрела вперед: весь следующий квартал кишел людьми. Но Джордж, наверное, покинул Бродвей, и она метнулась налево, по полутемной Сорок восьмой улице. И тут она увидела его — он шагал быстро, как человек, который хочет что-то забыть, — и нагнала на Шестой авеню.

— Джордж! — окликнула она.

Он обернулся; его лицо было жестким и несчастным.

— Я не хотела идти на этот фильм, Джордж, я хотела, чтобы ты попросил меня не ходить. Почему ты меня не попросил?

"I didn't care whether you went or not."

"Didn't you?" she cried. "Don't you care for me any more?"

"Do you want me to call you a cab?"

"No, I want to be with you."

"I'm going home."

"I'll walk with you. What is it, George? What have I done?"

They crossed Sixth Avenue and the street became darker.

"What is it, George? Please tell me. If I did something wrong at your mother's why didn't you stop me?"

He stopped suddenly.

"You were our guest," he said.

"What did I do?"

"There's no use going into it." He signalled a passing taxi. "It's quite obvious that we look at things differently. I was going to write you tomorrow but since you ask me it's just as well to end it today."

"But why, George?" She wailed. "What did I do?"

"You went out of your way to make a preposterous attack on an old gentlewoman who had given you nothing but courtesy and consideration."

"Oh, George, I didn't, I didn't... I'll go to her and apologize. I'll go tonight."

— Мне было все равно, пойдете вы или нет.

— Что ты говоришь! — вскричала она. —
Значит, тебе на меня наплевать?

— Хотите, я поймаю вам такси?

— Нет, я хочу быть с тобой.

— Я иду спать.

— Тогда я тебя провожу. Что стряслось,
Джордж? В чем я виновата?

Они пересекли Шестую авеню, и улица стала
темнее.

— Что случилось, Джордж? Пожалуйста,
скажи. Если я сделала что-то не то у твоей ма-
тери, почему ты меня не остановил?

Он вдруг оборвал шаг.

— Вы были нашей гостьей, — сказал он.

— Что я сделала?

— Нет смысла это обсуждать. — Он махнул
проезжающему такси: — Совершенно очевидно,
что мы смотрим на вещи по-разному. Я соби-
рался написать вам завтра, но если уж вы меня
спросили, можно покончить с этим и сегодня.

— Но почему, Джордж? — взмолилась она. —
Что я такого сделала?

— Вы приложили все усилия к тому, чтобы
самым нелепым образом обидеть пожилую жен-
щину, которая отнеслась к вам со всем возмож-
ным тактом и любезностью.

— Ах, Джордж, я этого не делала! Я пойду
к ней и извинюсь. Сегодня же пойду.

“She wouldn’t understand. We simply look at things in different ways.”

“Oh — h-h.” She stood aghast.

He started to say something further, but after a glance at her he opened the taxi door.

“It’s only two blocks. You’ll excuse me if I don’t go with you.”

She had turned and was clinging to the iron railing of a stair.

“I’ll go in a minute,” she said. “Don’t wait.”

She wasn’t acting now. She wanted to be dead. She was crying for her father, she told herself — not for him but for her father.

His footsteps moved off, stopped, hesitated — came back.

“Evelyn.”

His voice was close beside her.

“Oh, poor baby,” it said. He turned her about gently in his arms and she clung to him.

“Oh yes,” she cried in wild relief. “Poor baby — just your poor baby.”

She didn’t know whether this was love or not but she knew with all her heart and soul that she wanted to crawl into his pocket and be safe for ever.

— Она не поймет. Просто мы по-другому смо-
трим на вещи.

— О-о... — Она замерла, пораженная.

Он хотел было сказать что-то еще, но, глянув
на нее, открыл дверцу такси:

— Здесь всего два квартала. Простите, что не
еду с вами.

Она отвернулась и прислонилась к железным
перилам какой-то лестницы.

— Сейчас, — сказала она. — Не ждите.

Она не играла. Ей и впрямь хотелось умереть.
«Это слезы по отцу, — сказала она себе, — не по
нему, а по отцу».

Ей было слышно, как он зашагал прочь, оста-
новился, помешкал... вернулся.

— Эвелина.

Его голос прозвучал сзади, совсем рядом.

— Ах ты, бедная девочка, — промолвил он.
Затем ласково развернул ее за плечи, и она при-
никла к нему.

— Да, да, — воскликнула она с гигантским
облегчением. — Бедная девочка... Твоя бедная
девочка.

Она не знала, любовь это или нет, но всем сво-
им сердцем и душой чувствовала одно: что больше
всего на свете ей хочется спрятаться у него в кар-
мане и вечно сидеть там в покое и безопасности.

Contents

THE CURIOUS CASE OF BENJAMIN BUTTON	4
BERNICE BOBS HER HAIR	96
CRAZY SUNDAY	188
ON YOUR OWN	252

Содержание

ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ	
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА	5
ВОЛОСЫ ВЕРОНИКИ	97
СУМАСШЕДШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ.....	189
САМА ПО СЕБЕ	253

УДК 821.111-31(73)
ББК 84(7Coe)-44
Ф66

Francis Scott Fitzgerald
THE CURIOUS CASE OF BENJAMIN BUTTON

Перевод с английского

Оформление серии *Н. Ярусовой*

В оформлении обложки использован кадр
из фильма «Загадочная история Бенджамина Баттона»
(«The Curious Case of Benjamin Button»), 2008 г.:
Ronald Grant / Mary Evans / DIOMEDIA

Фицджеральд, Фрэнсис Скотт.
Ф66 Загадочная история Бенджамина Баттона =
The Curious Case of Benjamin Button : [перевод с
английского] / Фрэнсис Скотт Фицджеральд. —
Москва : Эксмо, 2019. — 320 с.

Текст парал. рус. англ.

ISBN 978-5-04-103329-3

Фрэнсису Скотту Фицджеральду принадлежит, пожалуй, одна из ведущих сольных партий в оркестровой партитуре «века джаза». Писатель, ярче и беспристрастней которого вряд ли кто отразил безумную жизнь Америки 20-х годов, и сам был плотью от плоти той легендарной эпохи, его имя не сходило с уст современников и из сводок светских хроник. Его скандальная манера поведения повергала в ужас одних и вызывала восторг у других. Но эксцентричность и внешняя позолота канули в прошлое, и в настоящем остались его бессмертные книги.

В сборнике несколько лучших рассказов и «Загадочная история Бенджамина Баттона», по которой Дэвид Финчер в 2009 году снял одноименный нашумевший фильм с Брэдом Питтом в главной роли.

«Страх старения присущ всем людям. Многие втайне мечтают о вечной молодости. Но юность, проведенная в теле старика, — безрадостна».

УДК 821.111-31(73)
ББК 84(7Coe)-44

- © И. Архангельская, перевод на русский язык.
Наследник, 2019
© В. Бабков, перевод на русский язык, 2019
© Л. Беспалова, перевод на русский язык, 2019
© Т. Луковникова, перевод на русский язык, 2019
© Издание на русском языке, оформление.
000 «Издательство «Эксмо», 2019

ISBN 978-5-04-103329-3

Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

Литературно-художественное издание

Фрэнсис Скотт Фицджеральд

**ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТОНА
THE CURIOUS CASE OF BENJAMIN BUTTON**

Ответственный редактор *М. Яновская*

Художественный редактор *Н. Ярусова*

Технический редактор *О. Лёвкин*

Компьютерная верстка *О. Шувалова*

Корректор *Г. Кузьмина*

ООО «Издательство «Эксмо»

123308, Москва, ул. Зорге, д. 1. Тел.: 8 (495) 411-68-86.

Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru

Өндіруші: «ЭКМО» АҚБ Баспасы, 123308, Мәскеу, Ресей, Зорге көшесі, 1 үй.

Тел.: 8 (495) 411-68-86.

Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru.

Taуар белгісі: «Эксмо»

Интернет-магазин : www.book24.ru

Интернет-магазин : www.book24.kz

Интернет-дүкен : www.book24.kz

Импортёр в Республику Казахстан ТОО «РДЦ-Алматы».

Қазақстан Республикасындағы импорттаушы «РДЦ-Алматы» ЖШС.

Дистрибьютор и представитель по приему претензий на продукцию,
в Республике Казахстан: ТОО «РДЦ-Алматы»

Қазақстан Республикасында дистрибьютор және өнім бойынша арыз-талаптарды
қабылдаушының өкілі «РДЦ-Алматы» ЖШС,

Алматы қ., Домбровский көш., 3«а», литер Б, офис 1.

Тел.: 8 (727) 251-59-90/91/92; E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz

Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген.

Сертификация туралы ақпарат сайтта: www.eksmo.ru/certification

Сведения о подтверждении соответствия издания согласно законодательству РФ
о техническом регулировании можно получить на сайте Издательства «Эксмо»

www.eksmo.ru/certification

Өндірген мемлекет: Ресей. Сертификация қарастырылмаған

Подписано в печать 19.04.2019. Формат 76х100¹/₃₂.
Гарнитура «Школьная». Печать офсетная. Усл. печ. л. 14,07.

Тираж

экз. Заказ

16+

Оптовая торговля книгами «Эксмо»:
ООО «ТД «Эксмо». 123308, г. Москва, ул. Зорге, д. 1, многоканальный тел.: 411-50-74.
E-mail: reception@eksmo-sale.ru

По вопросам приобретения книг «Эксмо» зарубежными оптовыми
покупателями *обращаться в отдел зарубежных продаж ТД «Эксмо»*
E-mail: international@eksmo-sale.ru

*International Sales: International wholesale customers should contact
Foreign Sales Department of Trading House «Eksmo» for their orders.*
international@eksmo-sale.ru

По вопросам заказа книг корпоративным клиентам, в том числе в специальном
оформлении, *обращаться по тел.:* +7 (495) 411-68-59, доб. 2261.
E-mail: ivanova.ey@eksmo.ru

Оптовая торговля бумажно-беловыми
и канцелярскими товарами для школы и офиса «Канц-Эксмо»:
Компания «Канц-Эксмо»: 142702, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное-2,
Белокаменное ш., д. 1, а/я 5. Тел./факс +7 (495) 745-28-87 (многоканальный).
e-mail: kanc@eksmo-sale.ru, сайт: www.kanc-eksmo.ru

В Санкт-Петербурге: в магазине «Парк Культуры и Чтения БУКВОЕД», Невский пр-т, д. 46.
Тел.: +7(812)601-0-601, www.bookvoed.ru

Полный ассортимент книг издательства «Эксмо» для оптовых покупателей:
Москва. ООО «Торговый Дом «Эксмо». Адрес: 123308, г. Москва, ул. Зорге, д. 1.
Телефон: +7 (495) 411-50-74. E-mail: reception@eksmo-sale.ru
Нижний Новгород. Филиал «Торгового Дома «Эксмо» в Нижнем Новгороде. Адрес: 603094,
г. Нижний Новгород, ул. Карпинского, д. 29, бизнес-парк «Грин Плаза».
Телефон: +7 (831) 216-15-91 (92, 93, 94). E-mail: reception@eksmonn.ru
Санкт-Петербург. ООО «СЗКО». Адрес: 192029, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны,
д. 84, лит. «Е». Телефон: +7 (812) 365-46-03 / 04. E-mail: server@szko.ru
Екатеринбург. Филиал ООО «Издательство Эксмо» в г. Екатеринбурге. Адрес: 620024,
г. Екатеринбург, ул. Новинская, д. 2щ. Телефон: +7 (343) 272-72-01 (02/03/04/05/06/08).
E-mail: petrova.ea@ekat.eksmo.ru
Самара. Филиал ООО «Издательство «Эксмо» в г. Самаре.
Адрес: 443052, г. Самара, пр-т Кирова, д. 75/1, лит. «Е».
Телефон: +7(846)207-55-50. E-mail: RDC-samara@mail.ru
Ростов-на-Дону. Филиал ООО «Издательство «Эксмо» в г. Ростове-на-Дону. Адрес: 344023,
г. Ростов-на-Дону, ул. Страны Советов, д. 44 А. Телефон: +7(863) 303-62-10. E-mail: info@rnd.eksmo.ru
Центр оптово-розничных продаж Cash&Carry в г. Ростове-на-Дону. Адрес: 344023,
г. Ростов-на-Дону, ул. Страны Советов, д. 44 В. Телефон: (863) 303-62-10.
Режим работы: с 9-00 до 19-00. E-mail: rostov.mag@rnd.eksmo.ru
Новосибирск. Филиал ООО «Издательство «Эксмо» в г. Новосибирске. Адрес: 630015,
г. Новосибирск, Комбинатский пер., д. 3. Телефон: +7(383) 289-91-42. E-mail: eksmo-nsk@yandex.ru
Хабаровск. Обособленное подразделение в г. Хабаровске. Адрес: 680000, г. Хабаровск,
пер. Дзержинского, д. 24, литера Б, офис 1. Телефон: +7(4212) 910-120. E-mail: eksmo-khv@mail.ru
Тюмень. Филиал ООО «Издательство «Эксмо» в г. Тюмени.
Центр оптово-розничных продаж Cash&Carry в г. Тюмени.
Адрес: 625022, г. Тюмень, ул. Алебашевская, д. 9А (ТЦ Перестройка+).
Телефон: +7 (3452) 21-53-96/ 97/ 98. E-mail: eksmo-tumen@mail.ru
Краснодар. ООО «Издательство «Эксмо» Обособленное подразделение в г. Краснодаре
Центр оптово-розничных продаж Cash&Carry в г. Краснодаре
Адрес: 350018, г. Краснодар, ул. Сормовская, д. 7, лит. «Г». Телефон: (861) 234-43-01(02).
Республика Беларусь. ООО «ЭКСМО АСТ Си энд Си». Центр оптово-розничных продаж
Cash&Carry в г. Минске. Адрес: 220014, Республика Беларусь, г. Минск,
пр-т Жуклова, д. 44, пом. 1-17, ТЦ «Outleto». Телефон: +375 17 251-40-23; +375 44 581-91-92.
Режим работы: с 10-00 до 22-00. E-mail: exmoast@yandex.by
Казахстан. РДЦ Алматы. Адрес: 050039, г. Алматы, ул. Домбровского, д. 3 «А».
Телефон: +7 (727) 251-59-90 (91,92). E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz
Интернет-магазин: www.book24.kz
Украина. ООО «Форс Украина». Адрес: 04073 г. Киев, ул. Вербова, д. 17а.
Телефон: +38 (044) 290-99-44. E-mail: sales@forsukraine.com

ISBN 978-5-04-103329-3



EKSMO.RU
новинки издательства



БИЛИНГВА **B** BESTSELLER

Для тех, кто хочет быть душкой!

ОРИГИНАЛЬНЫЙ ТЕКСТ И ПЕРЕВОД
НА СТРАНИЦАХ ОДНОЙ КНИГИ —
ЭТО ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ
ЗНАНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.

Фрэнсис Скотт Фицджеральд ярко и беспристрастно
отразил безумную жизнь Америки 20-х годов.
В настоящем остались его бессмертные книги.

В сборник вошли рассказы «Волосы Вероники»,
«Сумасшедшее воскресенье», «Сама по себе»
и «Загадочная история Бенджамина Баттона»,
по которой Дэвид Финчер в 2009 году снял
одноименный нашумевший фильм
с Брэдом Питтом в главной роли.

Помните?

...ему стало не по себе: он неотвратимо молодеет.

ISBN 978-5-04-103329-3



9 785041 033293 >